



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

АЛЬМАНАХ

“ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ”

1997

ЛС

*"Во всяком деле лучше немного,  
но хорошего, чем много, но плохого.  
То же и в книгах."*

Л.Н.Толстой

84.2Рос6

П54 - уз

XV



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
**АЛЬМАНАХ**  
"ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ"

162/153



1997  
ЛС

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
"ПОЛИГРАФВИДЕО"  
г. Москва

Альманах издан по заказу Управления культуры  
Администрации Таймырского округа.

Издание альманаха ставит своей целью  
популяризацию творчества прозаиков  
и поэтов, драматургов и литературных  
критиков, проживающих на полуострове  
или пишущих о Таймыре.

Составитель Валентина Заварзина.  
Редактор Юрий Градинаров.  
Макет Тимура Атаева.  
Корректор Светлана Петрова.

## СОДЕРЖАНИЕ

## ПОЭЗИЯ

Алевтина ЩЕРБАКОВА ✓

Не катиться в ладони дождем...	7
От облака до облака...	7
От моей ладошки на стекле проталинки...	7
Затеряюсь в озябших просторах...	7

Виктор ВОЩЕНКОВ ✓

Руку дай, погадаю, красавица...	8
Глаза твои, как робкие олени...	8
Пробило хэйро стынь и темноту...	9
Прости, Господь, нам грех людской немалый...	9
Снег и холод. Пути кочевые...	9
Город мой, и суровый, и вольный...	9
Солнце. Ветер. Душа нараспашку...	9
По весне, когда, боль обнажая...	9
Замирает душа от простора...	9
В закат уходит северное лето...	9

Владимир КАНТАРИЯ ✓

Я море поджег...	10
Ветка с красными плодами...	10
Декабрь. Я покупаю свечи...	10

Олег ВАЩАЕВ ✓

Сердце ищет тепла...	11
Тот, кто истины цену не знает...	11

Елена ЯГУМОВА ✓

Ласкай меня губами жадными...	12
Кто апокалипсис, а кто мессию...	12
За тонкой оболочкой сна...	13
За холмами, в долине тумана...	13
Нагретый аромат тяжелых лилий...	13

Наталья ЧЕРНОГУБОВА ✓

Твоя вина	14
Нежданная зима	14
Святая ложь	14

Анатолий ЛЕВЕНКО ✓

Зов северян	15
Отливаю из иглистых звезд...	15
Я напрасно в побеги рвусь...	15
Глаза выпили терпкость рябин...	15
Я тихонько в кусты уползу...	15

Иван ЛЕВЕНКО ✓

Чума	16
------	----

Юрий БАРИЕВ ✓

Анатомируя любовь...	17
Вновь раскачала полярная ночь...	17
Эволюция	17
Размышляя порой о душе...	17
Молитва	17
Пусть выжженной землей душа...	17

Валерий КРАВЕЦ ✓

Мне было интересно, как...	18
Константиново. 3 октября 1993 года	18
За все расплачиваться надо...	18
Чем солнечней и холодней...	18
Есть в ревности такая страсть...	18

Елена САГАН ✓

Шепот лунного сияния	19
----------------------	----

## ПРОЗА

Виктория БЕЛЯЕВА ✓

Моя любовь к этому человеку. Рассказ	20
--------------------------------------	----

Любовь НЕНЯНГ ✓

Звон оленьих рогов. Повесть	26
-----------------------------	----

Николай САХНО ✓

Байки деда Семена. Рассказ	43
----------------------------	----

Сергей ЛУЗАН ✓

Дуй и не оглядывайся. Рассказ	47
"Мы на ходу прикурим от голубого пламени пурги". Рассказ	49

Владимир ЭЙСНЕР ✓

Черные вороны, белые аисты. Рассказ	52
-------------------------------------	----

Татьяна ШАЙБУЛАТОВА ✓

Исповедь волка. Рассказ	55
-------------------------	----

Юрий ГРАДИНАРОВ ✓

По собственному желанию. Продолжение повести	58
--	----

Юрий МИРОНОВ ✓

В таймырских даях. Отрывок из повести	66
---------------------------------------	----

Роман СОЛНЦЕВ ✓

Деревянная шляпа. Маленькая повесть	72
-------------------------------------	----

Валентина ЗАВАРЗИНА ✓

Зарисовки	81
-----------	----

## ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ ТАЙМЫРА

Оксана ДОБЖАНСКАЯ ✓

Ойун. Долганская сказка	83
-------------------------	----

Казимир ЛАБАНАУСКАС ✓

Два Нгузундэя и железные люди. Энецкая сказка	84
Три дочери бедного старика. Ненецкая сказка	85
Похищение женщины. Нганасанская легенда	87

**Алевтина ЩЕРБАКОВА**

*Родилась в Норильске. Работает художником-оформителем. Ее стихи опубликованы в коллективном сборнике норильских поэтов "Гнездовье вьюг".*

Не катиться в ладони дождем,  
Губ твоих поцелуем не плавить,  
Не царить, бабьим летом не править  
Мне в лесу золотистом твоём.

Не настичь сотней росных зеркал  
Луч восхода, по сердцу скользнувший,  
Не сдержать по вершинам хлестнувший  
Ветра вольного северный шквал.

Подступивших к вискам с двух сторон  
Не срывать паутин серебристых,  
Хора птичьего звонких солистов  
На прощальный не вызвать поклон.

Не сберечь мне озерную гладь —  
Отпечаток небес побледневших,  
Стрелы хрупкие трав пожелтевших  
В догоревший костер не бросать.

Ухожу я зеленым листком  
Под снега, как мосточек из лета,  
Среди тысяч других неприметных,  
Что в лесу затерялись твоём.

\*\*\*

От облака до облака,  
От белого до черного  
Один шажок, как молния,  
И пропасть подо мной.  
И грома дробь рассыпалась,  
И чем земля насытилась —  
Обидою, отравою,  
Невсхожею слезой?

Когда все больше прошлого,  
Прозрачней чаша времени,  
А я глоток свой огненный  
Стужу на самом дне,  
И голос мой за окнами,  
Дорогами изогнутый,  
Чужим вспотевшим выдохом  
Остался на стекле.

Смычка обломок вскрикнувший  
Еще плывет над струнами,  
Но звуков стихли россыпи,  
Аккордам не звучать.  
Один шажок я сделала,  
Один глоток я выпила,  
И в медальонах осени  
Волос белеет прядь.

\*\*\*

От моей ладошки  
На стекле проталинки,  
А небесный ковшик  
Звезды растерял,  
Под мое окошко  
Выплеснул печалинки  
И мои дорожки  
С полем уравнил.

А я выйду в поле,  
Где снега лохматятся,  
Где гуляет воля  
Без седла и шор,  
И моим паролем  
Гул ветров покатится —  
Их держала в тайне  
Строгость дальних гор.

И в свои ладошки  
Соберу печалинки  
И в домашний ковшик  
Брошу, чтоб забыть.  
Будут под окошком  
И в мороз проталинки,  
Будет звездный дождик  
Ночью моросить.

\*\*\*

Затеряюсь в озябших просторах —  
Не отречься от них, не сбежать —  
И в промерзших до сердца озерах,  
Как в стакане, мне правду искать.

Расчертила дорогу поземка,  
Белой лентой ее обвила,  
Мне снежков накидала в котомку  
И серебряный посох дала.

Подгонял меня ветер губастый,  
Быть попутчиком мне обещал,  
И мороз просыпался под настом,  
Разминался, кряхтел и крепчал.

Тяжелел мой серебряный посох,  
Обрастая и снегом и льдом,  
И вздымался колючим торосом  
Каждый холм на подъеме моем.

Вьюга ноги мои бинтовала,  
Горизонт приближаться устал,  
А попутчиков — как не бывало,  
Каждый раньше нашел, что искал.

Север крайних из нас выбирает,  
И нельзя мне об этом не знать.  
Урожай мой в снегах вызревает,  
И пора мне его собирать.

---

---

**Виктор ВОЩЕНКОВ**

*Родился в 1944 году в Смоленской области.  
Член Союза журналистов России.  
Автор поэтического сборника "Три судьбы".  
Живет в Дудинке.*

---

---

\*\*\*

*Наталье...*

Руку дай, погадаю, красавица,  
Загляну в колдовские глаза,  
И все то, что ночами мечтается,  
Может быть, я смогу предсказать.  
    Предскажу снег лохматый в июне я,  
    В день рождения — дождь озорной,  
    И тебе, самой лучшей колдунье,  
    Будет очень непросто со мной.  
Ты узнаешь, как звезды качаются  
На продрогшей в тумане реке  
И как синие ветры печалются  
Без тебя в голубом тальнике.  
    Как несмелой, пугливую птицею  
    В затаенной ночной тишине  
    Я мечтаю хотя бы присниться ей —  
    Той колдунье — в нечаянном сне.  
Дай же руку, дай руку, красавица,  
На минуту хотя бы постой,  
Вдруг случайно ты мне повстречаешься  
На ладони твоей золотой.

\*\*\*

*Аленушке...*

Глаза твои, как робкие олени.  
Тоскует тундра отчая по ним,  
Когда они с мольбой и с удивленьем,  
На миг открывшись, прячутся в тени.  
    В тени ресниц, как в зябких ветках тала,  
    Что стынут так над грустью милых глаз,  
    Как будто сердце биться перестало,  
    Как будто чья-то жизнь оборвалась.  
И вместе с этим, хрупкая, земная,  
Одним лишь вздохом, только позови,  
У рук твоих, у ног твоих, родная,  
Сама земля заплачет о любви.  
    И может быть, букет весенних веток  
    С росой хрустальной бросит на кровать,  
    Чтобы однажды в золоте рассвета  
    Аленушку свою поцеловать.

\*\*\*

Пробило хэйро стынь и темноту,  
И стало все прекраснее и зримей...  
Как горько, что любовь и красоту  
Не ценим мы, пока владеем ими.  
Привычны нам и сполохи зарниц,  
И звездный шум полярного сиянья,  
И тундра без пределов и границ,  
Молящая людского сострадания.  
А мы все рвемся к новым берегам,  
Не замечая, как уходит в вечность  
Земля Отцов, доверившая нам  
Любовь и боль, мечту и человечность.

\*\*\*

Прости, Господь, нам грех людской немалый,  
Прости за то, что в болести своей  
Земля давным-давно уже устала  
Жить без любви и верности детей...  
Сгорает в мире все, как Божьи свечи,  
Сгорают зори в северных краях,  
И видим мы, как время быстротечно  
Перед извечным ходом бытия.  
И потому в отчаянье тревожном,  
Как тонущие в море корабли,  
Тебя мы молим: "Помоги нам, Боже,  
Вернуть любовь поруганной земли".

\*\*\*

Снег и холод. Пути кочевые  
Время вьюгой веков замело.  
Боже мой, сколько судеб, Россия,  
В эту горькую землю легло.  
Все не вечно. Обряды, устои  
Умирают, рождаются вновь...  
И кропит лиственничная хвоя  
Нашу память и нашу любовь.  
Чтоб, века и пространства осилив,  
Вспыхнув звездным сияньем во мгле,  
Самый северный город России  
Был рожден на Таймырской Земле.

\*\*\*

Город мой, и суровый, и вольный,  
Белой птицей застыл над рекой,  
Знал бы ты, как бывает мне больно  
Расставаться надолго с тобой.  
Если даже в короткой разлуке,  
Словно детства былого ключи,  
Твоих кранов тревожные руки  
Не дают мне покоя в ночи.  
Чтобы памяти нашей страницы —  
Боль и совесть родимой земли —  
Мы с тобой, моя белая птица,  
В своем сердце всегда берегли.

\*\*\*

Солнце. Ветер. Душа нараспашку.  
Так приходит сюда каждый год  
В золоторогой оленьей упряжке  
Осветляющий мир ледоход.  
Снова край мой, как льдина, расколот,  
Снова бубны весны принесли  
И тепло, и пронзительный холод,  
И тревогу, и мудрость земли.  
Снова души невольной грустинкой  
Память давняя жжет, как слеза,  
О тебе и о нашей Дудинке,  
Утонувшей в любимых глазах.

\*\*\*

По весне, когда, боль обнажая,  
Переполнится сердце тоской,  
Я бегу, я спешу, уезжаю  
Ото всей суеты городской.  
Тороплюсь надышаться простором,  
Прикоснуться к земным родникам  
И за добрым простым разговором  
Рассказать о себе землякам.  
Выйти в тундру, где веет покоем,  
Поклониться земле и воде,  
А потом делать дело мужское  
И любить самых лучших людей.

\*\*\*

Замирает душа от простора,  
От величья и мощи реки,  
А казалось бы, дело простое —  
Небо, тундра, вода, тальники.  
Так уж, видимо, мир наш устроен,  
Что, скитаясь от дома вдали,  
Мы спешим за чужой красотой  
И не ценим родимой земли.  
И лишь здесь, на бескрайнем просторе,  
Понимаешь со всей остротой,  
Что давно оборвал ты свой корень,  
А ведь корень тот был золотой.

\*\*\*

В закат уходит северное лето,  
Спешат на юг последние суда,  
Давно вся тундра в желтое одета,  
Прозрачна и медлительна вода.  
Все медленней и тягостней рассветы,  
Листвяк роняет золото хвои,  
И медленно уходят без ответа  
Глаза и губы милые твои.  
И никуда не спрятаться, не скрыться,  
Чтоб без тебя и лета не пропасть...  
А может быть, прийти, и помолиться,  
И снегом белым под ноги упасть!



---

---

**Владимир КАНТАРИЯ**

*Родился в Грузии в 1946 году.  
Тридцать три года живет на Таймыре.  
Печатался в альманахе "Полярное сияние".  
Автор сборника поэзии "Верните мне моё...".  
Живет в Дудинке.*

---

---

Я море поджег  
И раду в скатку скатал.  
Коня оседлал  
И простился с любовью своей.  
Я диким верлибром  
Твое оправданье назвал.  
И в чистый сентябрь  
Отпустил я своих сизарей.  
Мне ветер в лицо  
Бросил с флюгера сорванный стон.  
И с дальней дорогой  
Свое я родство осознал.  
Коня я направил  
На север, и осени звон  
Кружил надо мною  
И желтой листвою осыпал.

\*\*\*

Ветка с красными плодами,  
Ветка с желтою листвою.  
Баба с томными глазами  
И печальною судьбой.  
Осень тихую улиткой  
Наползает на леса.  
Грустно бабе у калитки —  
Отвела ее краса.  
Отвела миндальным цветом,  
Не маячит впереди.  
Бабье лето, бабье лето  
И томление в груди.

\*\*\*

Декабрь. Я покупаю свечи.  
Стекло надеждою окно  
И слушаю хмельные речи,  
Разлив по чашечкам вино.  
Декабрь. Пора бы и подумать,  
Кому и как вернуть долги.  
Декабрь. Настраиваю струны  
На вой и выверты пурги.  
Декабрь без солнца и без веры.  
Парад игрушек и гостей.  
Декабрь. Любовница у двери  
Гремит отмычками страстей.  
Декабрь. Я покупаю свечи  
И тонких благовоний дым...  
Декабрь — морозное оплечье,  
Свеченье таинств и глубин.  
Декабрь. Я покупаю свечи...

## Олег ВАЩАЕВ

Родился в 1970 году в Норильске.

Печатался в поэтическом сборнике "Гнездовье выюг", в альманахе "Полярное сияние".

\*\*\*

Сердце ищет тепла,  
губы — мед с молоком,  
и, читая вздох,  
ищут правду глаза.  
Но с чужого плеча  
не прольется слеза,  
а искать — так идти —  
не боясь, прямиком.

Уходя от себя,  
совладать бы суметь  
с полосой замешательства,  
с невнятистью дум,  
чтоб с засилием страха  
не свыкнуться впредь  
и понять, что для счастья  
достаточно двум.

Души просят любви  
в продолжение слов,  
за которыми нет  
ни дорог, ни имен.  
По законам судьбы  
кто-нибудь обречен  
испытать боль и гнев  
прихожанок и вдов.

Седина на кудрях,  
синева на губах  
и растущая жалость  
к себе по ночам.  
Кто бы дал отдохнуть  
попривыкшим плечам  
и сказал, от чего  
не испытывать страх.

Чувства ищут родник,  
а эмоции — цель,  
научив нас терпеть,  
не бывают легки,  
чтобы, душу встряхнув  
от страстей, как постель,  
неизвестной любви  
завенели стихи.

И рассыпался плач,  
поднялся до небес  
разорвать там, где тонко,  
случайную связь  
обручальных колец,

чтоб причина нашлась  
объяснить по плохому  
началу — конец.

Может быть, твое сердце  
отыщет тепло  
и найдет свою радость,  
тебя не судя  
ни за что, ни про что,  
ни о ком не судя,  
и не станет жалеть  
то, чего не спасло.

Хоть не мед с молоком,  
хоть березовый сок,  
где за привкус пригара  
в ответе гроза,  
ищут губы, пред тем  
попадая под ток  
и болезненной дрожью  
пугая глаза.

Может быть, станет правда  
глазам не нужна,  
ведь замену своей  
голове не найти.  
И хотя жизнь у каждого  
только одна —  
от потери ее  
никому не уйти.

И когда ты поймешь,  
что потеря близка,  
вот тогда, распрошавшись  
с невнятистью дум,  
ты увидишь: протянута  
чья-то рука —  
Бог не в силе, а в правде,  
в терпении — ум.

1991 год

\*\*\*

Тот, кто истины цену не знает,  
не поймет, как от скупости душ  
окрыленная плоть умирает,  
превратясь в неоплаченный куш.

Но в неправедных истинах веры  
так же много неискренней лжи,  
как надежды на то, во что веришь,  
как упорства, затем чтобы жить.

Потому и в цене, равной долгу  
перед тем, за кого умирать,  
не увидеть ни смысла, ни толка,  
если жить и о смерти не знать.

1990 год

---

---

## Елена ЯГУМОВА

*Родилась в 1949 году. Жила в Норильске.  
Ее стихи публиковались в журналах "Октябрь",  
"Москва", в альманахах "Енисей", "Полярное сияние".  
Сейчас живет в Пензе.*

---

---

\*\*\*

Ласкай меня губами жадными,  
я так хочу тебя до дна.  
Ночами томными, прохладными  
постель мне нищенски тесна.  
Я вся налита сочной свежестью,  
как травы майские в лугах.  
Перед твоей зовущей нежностью  
паденье мне — сладчайший страх.  
О, это таинство слияния  
двух тел — рождение души,  
о, этот миг распознавания  
времен в безвременной глуши,  
святое таинство зачатия  
и целомудренность греха.  
Благословляю час проклятия  
и Еву с яблоком в руках.

\*\*\*

Кто апокалипсис, а кто мессию,  
но я пою гонимых за любовь  
по привокзальным площадям России,  
с губы разбитой слизывая кровь.  
Молюсь надежде обожженной глоткой.  
У ног моих свихнувшийся Орфей  
беззвучно плачет над разбитой водкой,  
над онемевшей дудочкой своей.  
Но сокровенностью среди разъятых звуков  
мольбой к мольбе стекает высота...  
К моей душе, рождающейся в муках,  
любовь нисходит нежностью Христа.

\*\*\*

За тонкой оболочкой сна  
скользит в пространстве отчуждения  
к ночным садам уединенья  
замерзшая луна.  
По шиколотку в травах волглых  
встает над изголовьем сна  
и смотрит, смотрит взглядом долгим,  
сама в себя погружена.  
Мы перед нею тени теней  
спим крепко, насмерть, крест на крест,  
смежая руки и колени  
в набухшей плазме детских мест.  
Еще едины наши души  
в покое материнских вод,  
и дремлет в семени тот плод,  
который будет мной надкушен.  
Но вдруг мистическим приливом  
луна вторгается в наш сон,  
разъединяя в перспективе  
полупроявленных времен.  
И в одинокий час рожденья,  
чужими выйдя из воды  
в уединенные сады,  
стремимся слиться во спасенье.

\*\*\*

За холмами, в долине тумана  
травы влажные, в рост, полегли.  
Там я ночью увидела: Мана  
разбивала плоты на мели.  
Разбивала, топила, крушила  
о бесстрастье угрюмых скал.  
О спасении Бога молила,  
но Всевышний бессильно молчал.  
И клубилась туманов долина,  
и слезились в деревне огни.  
Женский голос оплакивал сына  
и молился: "Господь, сохрани!"  
Довелось же на свет появиться  
этой женщине, этой реке,  
сиротливо в туманы рядиться,  
окликающая друг друга в тоске.  
Не к добру на святые молитвы  
отзывались со скал канюки.  
Горе вскрыло безумием бритвы  
горло женщины, горло реки.  
Ни молиться, ни плакать нечем...  
Оползает туман по щекам.  
В церкви на ночь погашены свечи.  
Бог покинул бессветный храм.  
Он со мной в ожидании встречи  
на вокзалах вся Русь  
тихо молится: "Сын человеческий,  
ты помилуй меня и спаси..."

\*\*\*

Нагретый аромат тяжелых лилий,  
над синей заводью стояние стрекоз.  
Мне душно от распущенных волос,  
пропитанных подсолнечною пылью.  
Над раскаленной степью дикий зной.  
Шершавым шелестом шекочет кукуруза.  
Коровы тучею прошли на водопой,  
в блаженной мути по рога огрузили.  
Отфыркивают радугу носы,  
сбивая с толку разъяренных слепней.  
Ленивый самолет завис над степью,  
пастух сверяет с ним свои часы.  
И жалко времени, и страшно пропустить  
минуты в этом солнечном мельканье,  
и миражей текучее дыханье,  
и камышовым оборотнем выпь,  
и мальчиков верхом на лошадях,  
замедленно над травами плывущих,  
и плосколицых идолов, идущих  
за кругом круг на каменных ногах.  
Кто создал их подобием людей,  
лишивши напрочь муки сострадания,  
тем самым обрекая на скитанья  
по циферблату бесконечных дней.  
Их непрерывное кружение таит  
бесстрастную инерцию покоя —  
вот отчего среди степного зноя  
от них нездешним ужасом сквозит.  
Им, твердокаменным, должно быть, все равно,  
какой им век тоской в сосцы вопьется.  
Слагают зримость и незримость солнца,  
как будто время им подчинено.

---

---

## Наталья ЧЕРНОГУБОВА

*Свыше тридцати лет прожила на Таймыре.  
Публиковалась в окружной газете "Таймыр".  
Сейчас живет в Красноярске.*

---

---

### ТВОЯ ВИНА

Чужие жены слаще, чем свои.  
Однако же свои дороже и милее:  
Ведь только с ними пели соловьи  
В те восемнадцать в тишине у Енисея.  
Чужие жены... Что они хотят?  
Зачем на ласку быстро отвечают?..  
Как говорил когда-то старший брат:  
"А значит, дома им чего-то не хватает".  
А все ли ты своей родной отдал?  
И укорить себя ни в чем не можешь?  
И в час тоски, когда назрел скандал,  
Никто ее с собою не уложит?  
Не поцелует, "крепко обоямя"?  
Не приласкает, душу согревая?  
Твоя она, конечно же, твоя,  
А может, по вине твоей чужая?

### НЕЖДАННАЯ ЗИМА

В прическе иней засверкал,  
Следы улыбок под глазами,  
И голос глубже, ниже стал...  
Родная, милая, что с вами?  
А просто осень позади...  
А жизнь? А жизнь стремится дальше.  
Пришла нежданная зима  
Положенного срока раньше...

### СВЯТАЯ ЛОЖЬ

Ты не любишь меня, я знаю...  
Понапрасну себя не тревожь.  
Ну, бывает же ложь святая,  
И никто не узнает, что ложь.  
Ты не любишь меня, и не надо —  
Просто долго один живешь.  
Обмануться сама я рада,  
Хоть и знаю, что все это ложь.  
Ты не любишь меня, но все же  
Вечерами ко мне идешь.  
Больно только, что ложь святая,  
Хоть святая, но все-таки ложь.

## Анатолий ЛЕВЕНКО

Родился в 1952 году на Черниговщине.  
После окончания Киевского государственного университета работал в окружной газете "Таймыр" корреспондентом, редактором, сейчас свободный журналист. Автор трех поэтических сборников.  
Живет в Дудинке.

### ЗОВ СЕВЕРЯН

Север да юг.  
Поле да луг.  
Клевер да мох.  
С волей я б смог  
Пить пыль дорог.  
Верен я, друг,  
Юной княжне.  
Я нею я — бог!  
Поля нежней.  
Севера дух.  
Храма порог.  
Что нам важней?!  
Север да юг  
Будит петух,  
А не набат  
И не набег...  
Я тебе брат.  
Ты — мой обет.  
Верность навек.  
Горести? Пух  
Для любящих двух.  
Покров на Нерли.  
Спас на Десне.  
Все отболит,  
Словно во сне,  
От наших молитв  
Даже вдали  
Друг от друга.  
Если попросим:  
Зиму — весне,  
Северу — юг  
И лету — осень.  
А полю — плуг.  
Я доберусь  
К Северу, Русь.  
Я это смог.  
По клеверу — в мох,  
Где мерзлота.  
Бог мне помог.  
Поля платок.  
Воли глоток.  
Святые места.  
...Доли итог.

\*\*\*

Отливаю из иглистых звезд  
серебристо тупые пули.  
И встаю в полный рост  
там, где пьяно горчит багульник.  
В ту опаснейшую из засад!  
На тропе перевертыша караулю.  
Надо бить ему прямо в глаза,  
загоняя за пулей пулю.  
И в глазах от луны рябит.  
Отступленья нет из сраженья.  
Выстрел быстрый. Кульбит. Убит!  
Я убит. И мое отраженье.

\*\*\*

Я напрасно в побеги рвусь.  
Как попытки робки и наивны...  
Далеки, далеки мы с тобой  
друг от друга.  
Ведь на мне — полосатоверстая  
Русь,  
а не вышитый ворот  
моей Украины.  
И меж нами — колючка  
Полярного круга.

\*\*\*

Глаза выпили терпкость рябин  
на медово-мускатном настое.  
Я искал нежность робких рабынь,  
а был царственных чувств удостоен!

\*\*\*

Я тихонько в кусты уползу,  
чтобы раны свои зализать.  
Я уйму свой душевный зуд,  
не вернусь к вам в грызню назад.

Все стоически перенесу,  
все один, без обид и сам —  
и молву, и неправый суд.  
А пожалуюсь — лишь Гончим Псам.

Что там брошено на весы?  
Хруст костей или звон монет?!  
Как жалеют битые псы...  
Не себя только. Нет и нет!

Я целебную знаю росу  
из упавших хрустальных звезд.  
Ведь немного надобно псу.  
Пес бесхитростен. Прост.

И в сугробах найду полынь  
от обид и от ран,  
и воздам песьей песнью хвалы  
всем межзвездным мирам.

---

---

**Иван ЛЕВЕНКО**

*Родился в 1974 году. Автор поэтического сборника "Я из тюбика с черной пастой". Живет в Дудинке. Заканчивает Красноярское художественное училище имени Сурикова.*

---

---

**ЧУМА**

Микроб работал неусыпно.  
Обрел первоначальный вид.  
Как Сартр — мухами обсыпан.  
Как Бэкон — проволокой увит.  
Последний жир в последней каше.  
Последний чай. Последний хлеб.  
За стоном — хрип, за хрипом — кашель.  
Вакцина в банке на столе...  
Заказан рэггей похоронный.  
Ямайский дым. Ямайский ром.  
Камю набрякшие бубоны  
Вскрывает золотым пером.  
Во вздохе, жалобном и гулком,  
Последний галлюциноген.  
Камю выходит на прогулку.  
Ему навстречу — Поль Гоген.

## Юрий БАРИЕВ

Коренной норильчанин, родился в 1948 году.  
Закончил Литературный институт имени Горького.  
Автор трех поэтических книг: "Северная почта",  
"Очертание ветра", "Морозные метаморфозы".  
Составитель и автор антологии "Гнездовые вьюг".  
Член Союза писателей России.

\*\*\*

Анатомируя любовь,  
едва ли кто поймет, расскажет.  
И перепачканная сажей  
она все также горячит нам кровь.  
И никому здесь не подвластна,  
и не подсудна, и опасна,  
не разбираема на части,  
не собираемая вновь.  
Коль есть — она приносит счастье,  
но чаще боль и гибель.  
Вот любовь...

\*\*\*

Вновь раскачала полярная ночь  
черную пашню со восходами звезд.  
Полночь бредет и роняет на тундру  
темное зеркало в оспе дождя.  
Молнии взгляд отстраненный и дикий  
рифмуют мгновенно и горы, и луг.  
В нерукотворном храме Природы,  
почти что разрушенном нами бездумно,  
свернулась душа, как больное растение...

## ЭВОЛЮЦИЯ

И годы страха, несвободы годы,  
и отравляемые нами воды,  
задымляемые небосводы,  
радиоактивный шлейф погоды,  
подобострастные бездарно оды,  
и вырождающиеся народы,  
и нарождающиеся уроды.

\*\*\*

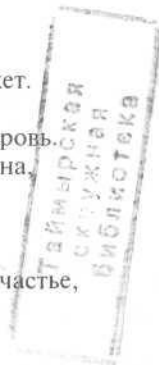
Размышляя порой о душе,  
забываем про брэнное тело.  
Говорим, а душа отлетела  
и покинула тело уже.  
Оттого, что устало нести  
через жизнь непосильную ношу,  
отпускает на волю — лети! —  
тело нашу бессмертную душу.

## МОЛИТВА

Бисмилляхи рахманы рахим...  
Мокры холсты снегов.  
Свой холст оставляю сухим.  
Во веки веков!  
Твой профиль не нарисую,  
к воспоминаниям глух.  
Не произносят все  
имя родное вслух.  
Пройдешь —  
умру, не окликну,  
сердце сожму в кулак.  
Ведь не бездушному лику  
поклонялся я так.  
Бисмилляхи рахманы рахим...  
Снег запечатал окно.  
Но даже когда с другим —  
со мною ты все равно.

\*\*\*

Пусть выжженной землей душа  
на жизнь оглянется без гнева,  
и, сострадав, землю небо  
накроет снегом не спеша.  
Даст бог — и я переживу  
и этот снег, и ночь глухую.  
И, жизнь доверивши стиху,  
переболею наяву.  
Переболею, пережду,  
перемогу, переиначу —  
как в ночь беззвездную звезду  
душой незряче обозначу...





---



---

**Валерий КРАВЕЦ**

*Журналист, свыше двадцати лет отдал Таймыру.  
Автор восьми поэтических книг.  
Живет в Норильске.*

---



---

\*\*\*

За все расплачиваться надо —  
Уймешь или не сдержишь дрожь —  
И за не сказанную правду,  
И за исторгнутую ложь.  
Но как и чем, не знает точно  
Никто, пока не грянет гром:  
Или бессонницей бессрочной,  
Иль беспокойным вечным сном.

\*\*\*

Мне было интересно, как  
Со мною время уживется  
На дне души моей колодца,  
Где оседает жизни мрак.  
Мне было интересно, что  
И я для времени сумею,  
В котором выступают змеи,  
Как на арене шапито.  
Я утолил свой интерес  
Разочарованным понятием:  
Мы и не люди, и не братья,  
А те, кого попутал бес.

**КОНСТАНТИНОВО.  
3 ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА**

**I.**

Пейзаж под названием "Россия":  
Березовый лес в янтаре.  
Двухтомник поэта в киоске.  
Корова в крестьянском дворе.  
Табун иномарок — примета  
Почтения развитых стран.  
Портрет к юбилею поэта,  
Бутылка, а рядом — стакан.

**II.**

Прости, поэт,  
В музей мы твой  
Не заглянули.  
Под константиновской листвой  
Мы помянули  
Твои стихи,  
Твои грехи,  
Свои — попроще...  
И стало меньше чепухи  
В душе и в роще...

**III.**

Мы, конечно, выпили  
На Оке осенней,  
Когда выйти выпало  
Под окно к Есенину.  
В тихом Константинове,  
Как корова, рыжем,  
Чисто. Нет кретинов.  
И Россия ближе...

\*\*\*

Чем солнечней и холодней  
Моя уставшая забота,  
Тем выше мудрость поздних дней  
Осеннего переворота,  
Когда все оживает вновь  
На уровне мельчайшей клетки,  
Когда последняя любовь  
Вдруг вырывается из клетки...

\*\*\*

Есть в ревности такая страсть...  
И тем она душе любезна,  
Что не дает любви упасть  
В непредсказуемую бездну.  
Она терзает жадно плоть,  
Ум омрачает воспаленный.  
Пока не сможет уколоть,  
Она не станет утоленной.

## Елена САГАН

*Двадцать восемь лет. Родилась в Волочанке.  
По национальности долганка. По профессии  
парикмахер. Училась в Ленинградском институте  
культуры имени Герцена. Танцевала в ансамбле  
"Хэйро". Сочиняет стихи и песни. Это ее первая  
публикация в литературном сборнике.  
Живет в Дудинке.*

### ШЕПОТ ЛУННОГО СИЯНИЯ

Спасибо Вам за добрые слова,  
За нежное прикосновение рук.  
Душа моя — зеленая трава,  
И только Вам я подарю свой луг.

\*\*\*

Не ищите во мне идеала,  
Грехи мои — вечный укор...  
Та весна, когда матерью стала,  
Изменила мне жизнь и мой взор.

\*\*\*

Я так хочу, чтоб Вы остались в моем сердце,  
Надолго-долго, на века,  
Чтоб я могла прийти и отогреться  
У Вашего живого очага.

\*\*\*

Снова в сердце угрюмые дни,  
А в душе только боль и усталость...  
Загляни мне в глаза, загляни,  
Может, в них еще что-то осталось...

\*\*\*

Я родник Ваш найду.  
Жажду...  
И луной поделюсь  
с каждым...

\*\*\*

Я за всех скажу,  
за всех,  
И за тех, не имевших успех.

\*\*\*

Знаю, дано мне писать,  
дано,  
Может, криво,  
но все равно!

\*\*\*

Нет, возгордиться я не смею,  
Но унижать себя не дам.  
Все в этой жизни одолею  
И проложу дорогу в храм.

\*\*\*

Сквозь время пробивая стены,  
Одoleвая боль и страх.  
Мы режем тонкие, как вены,  
Все нити света и добра.

\*\*\*

Ткать свою душу непросто,  
Проще в болоте застрять —  
После божественных тостов  
Падаем снова в кровать...

\*\*\*

Местами выжженный закат.  
Привычно умирает день,  
И умирает красота,  
Как в сердце раненный олень...  
Но я уже совсем не та...

\*\*\*

И в цвете индевеющей травы,  
И в гуще растрепавшейся листвы,  
Дыхание твое я чувствую  
Грустное...

\*\*\*

По следу упавшей звезды  
Устремлюсь в неизвестность.  
В страну пожелтевшей листвы  
Вернусь ли невестой?..

\*\*\*

Я хожу по Земле,  
Стынут пальцы в ночи.  
Сквозь толщу снегов  
Пробивается свет.  
Показался цветочек  
С душою ребенка...  
Грязный сапог.  
Надломленный стебель.  
И слепая тишина...

\*\*\*

Керосиновая лампа на столе,  
Печь гудит, как в детстве, так уютно...  
Только жаль, что прошлое в золе,  
И в него мне больше не вернуться.

\*\*\*

Кусок неба проглочу,  
Плечи расправлю,  
Легкую грусть  
Каплей дождя разбавлю.  
В непонятной своей мольбе  
В сны зареюсь.  
Бумерангом вернусь к себе  
И встречу с зарею...

## Виктория БЕЛЯЕВА

*Родилась в Норильске. Пишет стихи и прозу. Публиковалась в поэтическом сборнике "Зимовье вьюг" и в альманахе "Полярное сияние". Сейчас студентка Литературного института имени Горького.*

### МОЯ ЛЮБОВЬ К ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ

#### Рассказ

Снились беспокойные сны. Кто-то обижал меня, отбывая нечто очень для меня важное. В узлы свивала тоска, находившая вдруг ночами, сознанием беспомощности и одиночества сводила с ума. Я плакала. По утрам не становилось легче. Ночные страхи сменялись на время однообразными хлопотами, заполняющими день. В моей грусти не было ничего светлого, ничего романтического. Бог знает, как я пережила ту зиму — молодая, уверенная в себе, абсолютно здоровая невврастеничка.

Первый год университета ушел у меня на то, чтобы осознать размеры пропасти, отделяющей меня от мудрого пыльного мира подлинных знаний. Чем глубже зарывалась я в книги, чем дольше протирала штаны на жестких стульях читалки и скамьях лекционных залов, тем гуще становился в голове туман непонимания. Я завидовала своим однокурсникам, легко и бегло судившим о достоинствах и досадных промахах авторов, чьи имена вызывали во мне лишь смутный трепет. Как мне хотелось этого! Верить в пророка-диссидента, считать Толстого великим занудой, пиццать от фильмов Бунюэля и глазурированных страстей Дали, любить "Одиссею", не любить "Илиаду", сверяясь с учебниками, статьями, модными мнениями... На свое горе, мне слишком часто удавалось отделять чужие мысли от собственных. К концу третьего семестра я отчаялась, к концу четвертого — успокоилась и смирилась.

Мир, расцвеченный некогда душераздирающими красками надежд, поблек, обмелел и ссохся. Все становилось на свои места. Отхлынувшая было скука, так мучившая меня в отрочестве, воскресла и перешла в наступление. Я жалела себя неустанно, дни проходили в размышлениях о причинах и следствиях моей тоски. Я зачитывалась сомнительными брошюрами по популярной психологии, с мрачным удовольствием отыскивая у себя признаки пограничных состояний.

Ежедневность, неизменность происходящего удручала больше всего. День начинался на кухне, на кухне же и заканчивался — замкнутый круг, банальная окольцовочка. Утренний чай, который с детства по глупой привычке глотала еще в полусне, до умывания, лужица заварки на клеенке, давно насиженное место в щели между холодильником и столом. Добрый покой дома не грел, не радовал. Вечерами мать жарила рыбу — меня мутило от запаха. Катька презирала мясо, вредничала, зная главный материн пункт — питание детей. И мать, озабоченная Катькиной прозрачностью, потакала ей.

Я непривередлива в еде, но рыбные дни, длящиеся неделями, приводят меня в бешенство. Поэтому иногда я просто готовлю себе отдельно. Тогда мы с матерью толкаемся на кухне и шипим друг на друга, потому что трудно не шипеть, теснясь ежедневно на пяти квадратных метрах. А когда туда же тащится Катька, хвостом вьющаяся то за матерью, то за мной, в зависимости от того, кто меньше занят собственными мыслями, а следом и отец, который тоже не очень любит рыбу, а поэтому идет просить меня приготовить что-нибудь и на него тоже, — и вот, когда мы вчетвером оказываемся на кухне, наполненной паром, духотой и дымом отцовского "Беломора", мне уже не хочется есть. Мне хочется исчезнуть куда-нибудь далеко, чтобы Катька не хватала меня за подол, скользя по полу шерстяными пятками и изображая водные лыжи, чтобы отец не заглядывал через плечо в кастрюльку, чтобы не бубнила под ухом и не отпихивала от плиты мать.

Да нет, я люблю свою семью. И уж тем более — Катьку. Мы очень мало похожи на родителей и очень сильно — друг на друга. Лицом, не характером. Может быть, в восемь лет и я была такой, не помню. Катька ходит в балетную школу, которая, по-моему, скоро ее доконает. Там у нее обнаружилось что-то вроде таланта, и теперь ее выматывают, бедняжку, полагая, что с того, кому много дано, больше должно спрашиваться. Редкий день она не ноет из-за этого.

Я побывала раз на занятиях, по правде сказать, похожих больше на дрессировку — не хватало только хлыста в руке хореографа. Двадцать тонкорукких овец послушно гнулись у никелированного станка, послушно подымали ножку и приседали. То и дело раздавались шлепки и окрики балетмейстера: "Пузо подбери! Держи спину! Не ходи за ногой!" Заметив, наконец, меня, добрая женщина умерила свои порывы, одергивания прекратились. "Гран-батман, девочки, ножку выворотней, хорошо, Катя, хорошо..." Катька тоже увидела меня, заулыбалась, подобралась. Сердце сжалось — я словно впервые разглядела свою малявочку, худую, крохотную, в огромном зеркальном зале. Когда она вернулась в раздевалку и я взяла ее за плечо, черное трико под моей рукой было совсем мокрым. Было почему-то ужасно жаль ее, хлопотливую, говорливую напоказ, гордую, что вот за ней пришла старшая сестра — такая взрослая и красивая.

Катька считает меня красавицей, особенно вечерами, когда мы ложимся спать, и я разгуливаю по комнате в длинной "принцесской" ночнушке, кружевами которой Катька положительно очарована. Она-то спит в детской пижаме с медвежатами, и мое ночное одеяние кажется ей роскошным.

Впрочем, все, во что я одеваюсь, чем занимаюсь, что ем, — все для нее исполнено необычайной прелести и значительности.

— Это Надькины книжки, — говорит она соседской Шурочке, благоговейно оглаживая книжный шкаф, — твоя Алена столько бы не прочитала!

Шурочка тоже пытается хвастаться старшей сестрой:

— У Алены волосы такие кудрявые, как у Марианны по телеку!

— Ну да, — не верит Катька, — она их, поди, на плойку крутит. Вот у Надьки волосы — это да! И платье такое пышное, ветер дунет, оно — фр-р-р — и выше головы задирается!

Катка вскидывает руки, показывая, как задирается платье.

— А у Алены каблук здоровые-здоровые. Я вырасту, она мне их подарит!

— Да у Надьки тоже здоровые, — не сдается Катка. — И бантики впереди.

— Да ну, бантики... — Шурочка морщит нос. — У Алены знаешь какой маникюр? Ногти во какие, она даже делать ничего из-за них не может!

— А у Надьки... — сестренка задумывается, вспоминая. — У Надьки тоже длинные. И на ногах длинные. Ну просто ужас, какие длинные, ну просто когти какие-то!

Нет у меня ни когтей, ни платья, которое выше головы задирается, ни бантиков с каблуками. Но Катка и не думает врать — все, что кажется ей прекрасным, она связывает со мной, не задумываясь, похоже ли это на правду. И конечно же обезьянничает, перенимая мои привычки, жесты, гримасы, заискивает перед моими друзьями, пытается листать книжки, оставленные на моем столе. Когда я на первом курсе с головой ушла в античную литературу, Катка поменяла имена всем своим куклам. Надолго семейным развлечением стала ее игра, подслушанная как-то отцом. «Знаешь что, Афродиточка, — подлизывалась бывшая Анютка к заморской красавице Барби, — ты мне пожалуйста дай свой волшебный пояс: надо ненадолго отвлечь Зевса». — «Ну конечно, Гера, бери!»

Античку у нас вела почтенная матрона с прической чашоточной интеллектуалки — короткий ежик на темени, выщипанная челка, височки, — и с нелепой фамилией — Артурова. Она была скучна и занудна, она едва снисходила до нас, но отчего-то я к ней тянулась. Заразной оказалась ее любовь к давно погибшему разумному и прекрасному миру древних. Любовь, которую не в силах были затмить ни изысканное косноязычие, ни интеллектуальная хандра, ни презрение к «образованщицам» — так она нас называла. Наверное, единственная на всем курсе, я не писала писем и не шепталась с соседями на ее лекциях, а сидела, подперев подбородок и не сводя с нее глаз. Впрочем, на нее это не производило никакого впечатления. Только раз, приподняв надменно очки, Артурова нащупала меня взглядом — когда, выслушивая ее суховатый рассказ о вариантах перевода первой строки «Илиады», я разглядела в сухости речи некую сдержанную страсть и попросила прочесть начало главы на языке Гомера. «Да, разумеется», — ответила она удивленно. Фраза была прочтена, взгляд побродил в чудесных даях, остановился, потух, опустился, отыскал в плане лекции продолжение темы, солнце скрылось.

Об Артуровой в Универсе говорили много. Говорили о какой-то давней трагедии, угнетавшей ее и по сей день. Следы ее были во всем — в преувеличенной элегантности, аристократичности ее костюмов, в ее сухости, независимости, брезгливости, в нежном внимании к собственному телу, сохранившему юную стройность. В ее сыне — болезненном некрасивом мальчике той породы, которую легко уважать и жалеть, но любить слишком трудно. Сын обучался в столицах какой-то экзотической специальности, какой в нашем Универсе и помину не было. Был, по слухам, необычайно одарен, во всяком случае, наверняка было известно о его первых статьях в зарубежном журнале для начинающих эйнштейнов.

Мальчик этот остался Артуровой в качестве памятного сувенира от ушедшего мужа. Супруг преподавал прежде в нашем же университете, вел курсы, смежные с курсами жены, и слыл всеобщим любимцем. Студентки, не соблюдая очередности, влюблялись в красавца Артурова, но однако ушел он ни к какой ни к студентке, а к женщине, согласно легенде, совершенно посторонней. Уйдя из семьи, он оставил и университет, и дальнейшая его судьба осталась неизвестна.

Зато известны были последствия этой драмы для Артуровой — она окончательно свихнулась на своей Греции. Выходили в свет ее статьи, посвященные древней литературе, говорили, что ее не прочь приютить не только научные общества столицы, но и довольно престижные университеты Запада — однако же Артурова оставалась с нами. Какие-то катаклизмы происходили в университете, что-то перемешалось, двигалось, ссорились кафедры, интриговали деканаты, преподаватели приходили и уходили — и только Артурова оставалась неизменной. Незыблемой твердьней, живой достопримечательностью, типажом, эталоном, представителем касты жрецов, несущей тайну мудрости, недоступной двадцатилетним. Впрочем, никто из двадцатилетних и не пытался заняться археологией этой тайны, с Артуровой мирились, как мирится окружение с чудачком, внушающим одновременно и смех, и уважение.

Я частенько думала о ней, пытаюсь представить ее жизнь вне университетских стен. Как знать, возможно, я просто завидовала этой женщине, обреченной на свободу. Стать синим чулком, чопорным, недоверчивым, погрязшим навеки в волшебной древности — в конце концов, не лучший ли это выход из всех на свете положений? Я чувствовала странное родство с ней, странную связь, которую она все не желала заметить. Я видела в ее жизни смутное отражение собственного будущего, боясь и желая его.

\*\*\*

Дом наш стоит на самой окраине, бывшей когда-то деревней. Со временем город рос, протягивая бетонные и кирпичные шупальца, забирая в плен окрестные поселения. Я еще помню дни — жаркие, пронзительно солнечные дни своего детства, когда меня брали в березовую рощу за земляничкой. Мне до сих пор снится пыльная утоптанная дорога через холм, жесткую траву которого щипали тощие белые козы, мимо полей, где мы дергали молодую морковь, тоненькую, с мой трехлетний мизинчик, обольстительно хрустящую на зубах землей и молочной сладостью. Снится роща, березы до облаков и огромная трава, скрывающая меня с головой; внезапно деревья расступались, разбегались кусты, и сотнями зеркальных осколков, слепя и играя солнцем, мчалась, огибая поляну, хлопотливая речка. Речку переходили вброд, я ехала на чих-то плечах, замирая от страха. На том берегу, над вырубкой, стоял густой дух нагретой земляники. Ребята ползали в траве, а я, досыта наевшись, ложилась на спину и, отмахиваясь от мошкары, смотрела на облака, пока от солнца они не начинали казаться мне огненно-красными.

Порой я засыпала там же, и меня попеременно несли домой на руках. И всю дорогу, и потом, дома уже, мелькали перед закрытыми глазами меж плывущими багровыми пятнами яркие ягоды в обрамлении листьев. И бесконечно по-

вторялся чудесный миг распахнувшейся вдруг поляны, встречи со сверканием воды.

Теперь в истоках речки по-хозяйски осел завод, и с огромного холма, где и по сей день пасутся козы, видны рассыпанные в низине кубики заводских строений, рельсы железной дороги, по которой снуют игрушечные товарные составы. От завода отросла и уставилась в небо чета кирпичных труб, смердящих и распускающих черный студень смога. Безымянная речка превратилась в грязный ручей и назвалась Вонючкой, роща наполовину вырублена, наполовину зачахла. Нет больше душистой поляны — только сны.

Завод, отнявший у нас речку, рощу и землянику, дал работу тем, кого уже не кормила земля. Отец пошел туда шофером, в нашей семье, и прежде не бедствовавшей, завелись живые деньги с отцовского калыма. Тогда-то и перестроили дом.

Он получился большой, основательный. Садик за изящным штaketником, огород на задворках, курятник, сарайчики, парники. По двору без привязи носится кудлатая Бимка, служащая входным звонком — кусать она не умеет, но оповещает о гостях исправно. На калитке вывеска — "Участок образцового содержания", материна заслуга. В прошлом году к нам даже притащили съемочную группу из Голландии — показать, как живут простые русские люди — и мать потчевала их молодой картошкой, парниковыми огурчиками, поздней клубникой. Гости восторженно лопотали что-то, кормили Катюшку конфетами, а переводчик, польстившись на предложение отца, напробовавшись до беспомощности домашней наливки.

У нас своя — пополам с Катюшкой — комната, у нас веранда, что летними вечерами так яростно осаждается комарьем, и гамак под старой черемухой, и две рябины, посаженные в честь рождения детей: Надежда и гладкая, гибкая, юная Екатерина. И сирень под нашим окном, и крыжовник под окном родительской спальни, и грандиозные закаты в окне чердачном, куда часто зазывает меня посекарничать Катюшка. И Катюшкины кролики.

Толстую белую крольчиху с розовыми ушами мать купила на деликатесы к празднику. Катюшка, не ведая об истинном назначении животного, тотчас назвала ее Тетушкой и принялась с ней играть. И разрыдалась, узнав нечаянно о том, что ожидает завтрашним утром бедную крольчиху. Она плакала так долго и так вдохновенно, что отец не выдержал, ушел к соседу. Мать, устав разъяснять ей горькую правду жизни, бросила с сердцем: "По матери бы так не убивалась!" — отчего Катюшкин рев перерос в истерику.

Кур на нашем дворе рубили регулярно, но, Боже упаси, не при детях. Да и куры-то примелькались, как мусор, их было много, они не давались в руки, были далекие и неинтересные. А Тетушка — толстая, глупая, с распластанными по спине ушами, пунцовыми на просвет, — Тетушка была такой единственной, такой чудесной крольчихой! "Надька, ты глянь, она меховая, как Бимка, а сердце, как у человека, только часто-часто стучит — от страха, да?"

Отец пришел от соседа подлатый, когда мы уже ложились спать, и Катюшка топталась по койке, расправляя одеяло — скорбная, суровая; никого не простившая. Отец сгреб ее и прямо в пижаме вынес на двор. У крыльца стояла принесенная от соседа кроличья клетка — Катюшкина Тетушка оставалась с нами.

Катюшка после всего пережитого долго не могла уснуть, ворочалась, вздыхала, как старушка, под утро она залезла в мою постель.

— Надь, там гроза такая, мне страшно...

Действительно, полыхало вдалеке, шумел ветер. Дождя не было.

— Это не гроза, Катюха, это зарницы — далеко-далеко. Иди, ложись.

Но она прижалась ко мне и зашептала на ухо:

— Добрый у нас папа, да, Надь? Мама на него ругалась, что он пьяный пришел, я слышала... Тетушка у нас теперь всегда жить будет?

Она так говорила — "ссегда".

— Всегда, Катюха, до самой смерти.

Катюшка задумалась.

— А до смерти — это долго? Это сколько? А потом что будет?

— Не знаю, Катю. Кролики, они меньше людей живут.

— Ну а потом что?

— А потом умирают.

— Почему?

— Так положено. И кроликам, и людям.

Катюшка снова задумалась.

— И что с ними потом становится?

— Ничего. Просто приходит день, а человека нет.

— Совсем нет? А если кролик?

— И с кроликом так же.

— Надюшечка, — Катюшка схватила меня за руку, и при свете вспыхнувшей зарницы я увидела, что она плачет. — Пойдем скорее, посмотрим, вдруг Тетушки уже нет?

— Да что ты, Катю, она же молодая еще, здоровая, ей рано!

— А как я узнаю, когда поздно будет? Я вот ее люблю, люблю, а потом встану утром... А если мама? Или ты?

Катюшка зарыдала. Я гладила ее по волосам, потом села и взяла на колени.

— Нет, Катюха, когда человека любят, он долго живет. И кролики тоже.

Катюшка скоро уснула у меня на руках. Я переложила ее в кровать, убрала волосы с липкого от слез лица, укрыла. А потом долго сидела в постели, подобрав ноги, и думала о Катюшке, о матери, о любви.

Тетушка живет у нас до сих пор, исправно размножается, и нам приходится только успевать заготавливать корм для ее семейства, принимать приплод и продавать пуховых крольчат. Их дальнейшая судьба Катюшку не интересует.

\*\*\*

Закончился второй курс. Летние каникулы не сулили ничего приятного — огород, парники, рынок, где мы торговали ягодой и куда мать все чаще отправляла меня одну: "У тебя лучше идет". У меня, действительно, покупали лучше, хотя я и не горланила, как мать, про "ароматную клубничку", а молча стояла за прилавком и, не подымая глаз, отвечивала, подавала, считала. Руки у меня были красные от ягод, точно в крови, и деньги, которые я брала, тоже становились красными.

Ягоды мы возили на Центральный рынок — покупателей там было побольше, да и цены повыше. Я приезжала туда спозаранку, толком еще не проснувшись, ненакрашенная, заплетая волосы простоватой косичкой.

Как-то раз, в самом начале июля, когда клубника уже отходила, и народ не набрасывался на меня, как прежде, я уныло сидела за прилавком с оставшимися килограммами на руках. Лето выдалось сухим, жарким, солнце пекло сквозь стеклянную крышу, липли мухи, нечем было дышать. Я соображала, не сдать ли мне остатки оптом какой-нибудь матерой старухе, которой все равно, сколько еще просидеть в этом пекле, одетой в теплую кофту и пуховый платок, спасая поясницу от неведомых сквозняков. Наконец, решилась.

— Почем клубничка? — поинтересовался мужчина.

Я встрепенулась.

Стоп. Что бы я ни говорила дальше, все покажется банальным. “Ты лишь вошел, я вмиг узнала, вся обомлела, запылала и в мыслях молвила — вот он...” Ах, эти странные предчувствия, роковые встречи, узнавания! Ах, эти электрические разряды, там и сям вспыхивающие в романах между героями на стыках взглядов и чувств!

Но ведь, елочки точеные, ведь именно так все и было — узнала и почувяла сразу — на запах, что ли? — почувяла, что мое, и кровь прилила к голове, и грудь стеснилась — все, как полагается. Оживший фоторобот девичьих грез подбочившись стоял у прилавка и улыбался мне.

Я назвала цену, подумала, сказала: “Уступлю”. Он все продолжал улыбаться.

— У вас лицо бледное и в красных пятнах. По-моему, вы попробовались до дурноты.

Я достала зеркальце. Так и есть — клубничный сок размазан по щеке. Стерла его поспешно скомканым платочком и довольно грубо поинтересовалась, будет ли он брать. Он брал. Взял килограмм и пошел прочь.

Ближайшей бабушке я сторговала остатки, вполглаза наблюдая, как в соседнем ряду он выбирал яблоки. Собрала вещи, пошла в служебное помещение умыться и подкраситься. Торопилась, и тушь, не успевая высохнуть, оставляла черные точки на веках. Их приходилось стирать. Выйдя в зал, я не нашла его, потопталась чуть-чуть, оглядываясь, и тихонько пошла к выходу.

Он стоял на ступеньках, и грыз орех, и улыбался мне, и глаза у него на свету были золотые.

В сущности престарелый ковбой, матерый, добротный, джинсовый. Красивый мужик за сорок, с очевидным запасом красивых слов, с предсказуемо красивой женой, приличной работой и взрослыми детьми. В сущности все очень и очень банально. Но мне было все равно, и когда он протянул руку за сумкой, больно бившей меня по ногам, я не стала сопротивляться.

Жара и усталость довели меня до полубредового состояния. Я двигалась, как во сне, улыбалась и молчала. Мысль о возвращении в битком набитом автобусе, среди спрессованных потных тел, отвратных запахов, грубых локтей и бесстыдных глаз, о трех пересадках и почти километровой прогулке пешочком до дома — эта мысль как-то не приходила мне в голову. Его “Жигуленок” ждал на стоянке. Я тронула замазанный мастикой капот.

— Авария?

— Было дело. Автобус впереди тормознул перед самым носом. Зима, туман, у него выхлоп — ни черта не видно. Садитесь.

Имя его не было редким, но это было единственное имя, которое я сама дала бы ему.

— Ужасно люблю клубнику. Только не с молоком, это, по-моему, извращение, а?

Я тоже не люблю с молоком. И Катька не любит. Окна в машине были открыты, ветер раскосматил мне волосы. Я обмякла, расплылась по сидению. Он поставил кассету — восхитительный вальс нес нас по проспекту, мимо Дворца культуры, мимо домов и деревьев, млеющих в жаре.

— А вы не боитесь? — спросил он лукаво. — С незнакомым мужчиной, в машине... Еще завезу куда-нибудь...

Я только рукой махнула. Он засмеялся. Было спокойно и весело, и лихорадило сквозь этот покой, что-то дрожало внутри, какая-то струнка. Был разговор, приличный для людей, случайно встретившихся и расстающихся через четверть часа без сожалений и обещаний. Ленивый обмен мнений о жаре, о нравах базара, о городских новостях. И была червоточинка, саднящая двусмысленность в этом приличии, ибо ясно было, что сожаления будут, что обещаний хочется — позвонить, встретиться, не разбежаться в разные стороны, не прикидываться чужими.

На прощание он протянул мне яблоко, большое, теплое, пахнущее машиной. Я ждала, что он попросит разрешения заехать, но он ни о чем не спросил, просто сказал уверенно:

— Мы еще встретимся. До скорого!

Мать с крыльца наблюдала за нами. Когда “Жигуль” скрылся за поворотом, она полюбопытствовала:

— И сколько ты ему отдала, миллионерша?

— Нисколько. Это папа моей однокурсницы. Я страшно хочу есть.

Из дома вылетела Катька.

— Надька, у нас цыпляточки! Шесть штук, а скоро еще будут.

И мы пошли смотреть цыплят.

\*\*\*

Неделю я протомилась в ожидании. Прислушивалась к урчанию редких машин в переулке, на рынке вела себя откровенной дурочкой, вздрагивая каждый раз, когда кто-то казался мне похожим на Сергея.

Он появился лишь в воскресенье к концу дня. Закивал, заулыбался издали, терпеливо ждал, пока я соберу пустые лоточки, весы, отмою руки. Забрал сумку, и мы пошли к машине.

В этот раз он показался старше и мужественнее, что ли. Ему очень шел загар.

— На югах жарились? — завистливо спросила я.

— На даче, какие там юга.

И я заметила, что он тоже рад этой встрече.

Сергей предложил съездить на озеро. Я колебалась — с одной стороны, меня ждали дома, с другой — очень хотелось искупаться. И не зря же так мягко и восхитительно толкнулось вдруг сердце, нельзя было упускать этот день.

Сергей остановился в отдалении, чтобы не вызывать лишних вопросов у матери. Я поковыляла к дому, стараясь по возможности выглядеть усталой, однако мать встретила меня подозрительным взглядом.

— Чего сияешь?

— День удачный. Все продала.

— На то и воскресенье. Есть будешь?

В доме шла стирка. Пол в сенцах был залит водой, звенел гудела машина.

— Возьму бутербродов. Я ненадолго. Встретила ребят с курса, едем на озеро.

— На ночь глядя?

— Ничего не на ночь, — кричала я уже с кухни, нарезаю колбасу. — А где Катька-то?

— Дома она, дома. Получила как следует, вот и сидит дуется. Да ты пока до озера того доберешься, темно будет. А оттуда как?

— Если что, у Лариски заночую, — нашлась я. — Она на той стороне живет. Что мне теперь с этим базаром все лето дома торчать?

Катька сидела у окна с книжкой и смотрела сиротой. Я прикрыла за собой дверь.

— За что влетело-то?

Она страдальчески свела брови.

— Посуду не помыла. Да я, блин, вымыла бы потом, а мама даже слушать не стала — ка-а-ак даст!

— Ну и сделала бы сразу, — я рылась в шкафу.

— Ага, сразу... По телеку мультики, а она говорит... Ты что ищешь? Ты куда?

— В гости.

— Ага, в гости... А купальник зачем? Ты на озеро? Надь, я с тобой хочу! Надь, возьми!

— Не могу.

— Ну ты же брала! И к Лариске брала, помнишь? Я же хорошо веду себя, Надя...

— Отвянь!

У Катьки сразу выпятились губы, и слезы брызнули, как у рыжего клоуна — фонтанчиками.

— Поной еще у меня! — рывнула я и хлопнула дверью.

— Надь! — кричала мать вдогонку. — Ты, правда, заночуй лучше у Лариски, не ездь поздно-то...

— Хорошо, хорошо...

Выйдя из дома, я обомлела. В конце проулка у машины стоял Сергей и курил. Рядом стоял и курил отец, с видом знатока оглядывая "Жигуленок". Стоило отцу принять хоть стопочку, он становился заядлым автомобилистом.

— Па! — издали закричала я и замахала руками. — Па, иди сюда!

Но отец только радостно замахал в ответ. Делать было нечего, я подошла.

— Тебя мама зовет, иди домой.

— Это ваша дочь? — вежливо спросил Сергей.

— Старшая моя, Надежда. Моя надежда! — гордо объявил отец и прижал к себе.

От него действительно пахло спиртным.

Сергей, умница, понимающе кивнул.

— Очень приятно. Дядя Сережа.

Я тоже кивнула и, спровадив наконец отца, потрусила на остановку. По дороге меня подобрал Сергей.

— Конспираторша... — он мягко улыбнулся. — А ведь мы с вашим отцом, наверное, ровесники.

Мне бы никогда не пришло в голову сравнивать Сергея с отцом. Отец — он совсем другой. Он домашний, усталый, он пахнет потом, бензином и "Беломором". От Сергея веяло хорошим одеколоном, в кармане рубашки торчала пачка "Мальборо" — "Veni. Vedi. Vici." И машину он вел по-другому — руки легко лежали на руле. Отец, несмотря на опыт, за рулем собирался в комок, нервничал, баранку ворочал так, словно сдвигал с места мельничный жернов. Мы помолчали немного.

— А вы расстроены, Надя, — заметил Сергей.

— Дома нехорошо вышло. Обидела сестру, — я вспомнила Катькины фонтанчики и вздохнула. — Ее и так накачали, а тут еще я...

Он сбавил скорость.

— Если нет настроения, я могу отвезти вас обратно. Решайте.

— Ну вот еще, — встряхнулась я. — В кои веки из дома выбралась. Нет уж, едем на озеро!

Пока добрались, действительно стало смеркаться. Отдыхающие схлынули, осталось только несколько романтически настроенных парочек. Однако Сергей свернул мимо пляжа, по грунтовой дороге, скрытой от берега почти настоящими дикими зарослями. Я заволновалась.

— Надя, — он поглядел укоризненно, — я был уверен, что вы ничего не боитесь. Не разрушайте образ!

Дорога петляла и вела все дальше от берега.

— Незачем месить грязь на пляже, — объяснил Сергей. — Это, слава богу, не единственный водоем.

И действительно, еще раз круто свернув вправо, машина с ревом одолела пригорок и оказалась перед узкой отмелью, поросшей камышом. За ней в темной густой воде потухало солнце.

— Сказка!

Мы сбежали по крутой, едва приметной тропинке. Я разулась. Земля холодила ноги, но вода была теплой.

— Не ходите сюда!

Я подосадовала, что не догадалась надеть купальник дома. Можно было бы ненавязчиво и соблазнительно раздеться у него на глазах, а не прятаться по колючим кустам, путаясь в застежках и завязках.

— Я не предупредил, там глубоко! Вы плавать-то умеете? — кричал Сергей.

Но я уже плыла, постанывая от удовольствия. Вода, парная сверху, внизу оказалась холодноватой.

— А ближе к середине — холодный ключ. Судорог не боитесь?

Стоя на берегу, он пробовал ногой воду. Даже в наступающих сумерках было видно, какой он смуглый. Ничего себе фигурка.

— Я-то не боюсь. А вы?

— А я боюсь только русалок, но их тут нет. Во всяком случае, не было до вашего появления.

Он шумно нырнул и, фыркая, брызгаясь, стал сильно и резко выгребать в мою сторону.

— Будете умницей, я покажу вам, где растут кувшинки.

Но я уже увидела их.

Мы доплыли к невысокому обрыву, с которого, почти параллельно воде, склонялись деревья, и остановились передохнуть, ухватившись за ветви. Бурый листик, плававший в воде, прилип к моему плечу. Сергей осторожно снял его. Кувшинки уже закрылись на ночь и стали похожи на пузатые шкатулочки.

— Или на фонарики, — добавил Сергей.

Мы все равно нарвали их — какая разница, утром раскроются, если не завянут, конечно. Его мокрые волосы торчали колючками, как у ежа. Мы вылезли, и он расстелил на траве одеяло, подал полотенце.

— Я сорвал его с ветки. Холодно?

— Нет.

— А губы синие.

— И у вас синие...

Он пристально посмотрел и улыбнулся.

— Вытирайтесь. И завернитесь поплотнее — сейчас налетят комары, на вашу-то блистательную наготу.

Комары не медлили. Двух я уже прихлопнула, остальные тянули над ухом песню, похожую на зубную боль. Он принес бутылку теплого лимонада, помидоры, яблоки, я распаковала пакет с бутербродами.

— Почему это после воды так хочется есть?

— Видите ли, Надюша, — он травинкой согнал с моей ноги крылатую тварь, — жил когда-то такой чудак, Анаксимандр. Так вот он считал, что люди жили сначала внутри рыб и только потом вышли на сушу. А рыбы очень прожорливы.

Больше всего в греческой философии мне нравились именно эти рыбы.

— Где вы работаете, Сергей?

— Литератор в пединституте. Учю маленьких глупых девочек. Но, бог мой, какая нежная у вас шея... Две тоненькие складочки, как на старинных парсунках.

— Наверное, рано состарюсь.

Мне было необыкновенно хорошо с ним. Впервые мне не хотелось спорить, острить, что-то из себя строить — я просто сидела и слушала.

— Однако, уже темно. Ваши родители будут волноваться.

Я замаялась. Говорить, что я надула мать, было неловко.

До дороге мы разговаривали тихо, словно нехотя, беседа вспыхивала и угасала. Я слушала его рассказы о студентах и посмеивалась — получалось сборище маленьких идиотов. Это немного задело меня, и я ничего ему не сказала о своем Универе. Я слушала, и у меня было ощущение, что я лежу в тихом и теплом укрытии, в ладонях, наполненных пухом, цветами, теплой водой, в ладонях, убаюкивающих меня, усыпляющих...

— Ты чего? — всполошилась мать. — Ты же хотела у Лариски... — Бимкиного лая она не слышала, ее разбудили мои шаги. — Случилось что?

— Ничего не случилось. Спи.

Я набрала в миску воды, опустила туда кувшинки. Катька спала, обхватив руками подушку. Обычно рядом с ней лежала плюшевая корова, нелепое животное розового цвета, всю ночь глядящее в потолок недоумевающими глазами, — мой подарок. Сейчас корова была изгнана на стул — значит, Катька крепко обиделась. Я минуту постояла над ней, поцеловала в теплую сонную щеку и легла. И в короткое мгновение между жизнью и сном подумала, что любовь не иссушает и не ранит. Любовь — это тишина и тепло, это ладони, полные нежности, которые качают тебя.

\*\*\*

С тех пор мы виделись ежедневно. Сергей заезжал за мной, отвозил. Иногда по дороге мы заглядывали в кофейную, где хмурая девушка вытирала для нас столик и приносила кофе с пирожными. Мы проводили там около часа за разговорами — точнее, говорил Сергей, я лишь почтительно слушала. Он рассказывал мне о книгах, о театре, который я ненавидела, но с которым скоро смирилась — Сергей был театралом. Он говорил о музыке, о стихах, о древних франках и кельтах, об альбигойцах и истории города. Он

говорил о вещах, знакомых мне, но собственное его обаяние облекало эти вещи дымкой новизны и таинственности.

При этом он почти ничего не рассказывал о себе, словно намеренно хранил инкогнито. Обрывки его биографии, выловленные мной из случайных фраз, не складывались в картинку, не хватало чего-то важного. Впрочем, я платила ему тем же.

Сергею явно нравилась эта история о барышне-крестьянке, базарной торговке, девочке с окраины, что я ему наплела, он со вкусом вел свою роль наставника и вдохновителя. Трогательная история в тургеневских тонах. “Откуда вы это знаете?” — спрашивал он иногда с подозрением, и я ссылалась на его же предыдущие рассказы. Он восхищался моей памятью и понятливостью, все это было очень забавно.

“Читать вам надо, голубушка, читать как можно больше и учиться!” Я соглашалась, вздыхала, сетовала на несовершенство жизни. И это не было ложью, не было игрой. Это была старинная романтика, свидание масок, за которыми следовало угадать лицо.

Мы по-прежнему оставались на “вы”. Мне нравились его церемонные, чуточку старомодные ухаживания. Он словно боялся меня спугнуть, ходил кругами, я чувствовала, как с каждым днем круги становились все уже. В каждом жесте и в каждом его поступке чувствовалась порода, неведомый мир, влекущий меня давно, безнадежно. Он не был похож ни на одного мужчину, какого я знала бы прежде.



## Любовь НЕНЯНГ (1931 — 1996)

*Родилась в Таймырской тундре в семье оленевода. Закончила Ленинградский государственный пединститут народов Севера. Автор четырех поэтических сборников, сборника повестей и рассказов "Я читаю следы", сборника фольклора "Не только бабушкины сказки" и других книг.*

### ЗВОН ОЛЕНЬИХ РОГОВ

#### Повесть

*Прототипом главного героя этой повести является оленевод из Тухардской тундры Дмитрий Хольевич Яптунэ.*

Отбросив тяжелую меховую полость, которая тут же, скользя за его спиной, закрыла выход из чума, Ламдо шагнул и... зажурился. Сияло солнце. Сверкали снега. Но, опустив голову, а затем снова открыв глаза, мальчик не увидел уже ни снегов, ни солнца: густой лес рогов покачивался перед ним, походя на тальники, затопленные вешними водами и чуткие даже к самым тихим ветрам.

Рога, покачиваясь, задевая друг друга, звучали. И сквозь этот звук, непохожий ни на какой иной, прорывался еще более трепетный, ясный, словно поднимавшийся в самой мальчишеской душе — перестук оленьих копыт.

Олени, олени, олени... Они заполнили все пространство вокруг. Их живая масса всколыхивалась, медленно двигалась, жила. И мальчик, сам того не замечая, раскинув руки, поводя ими сверху вниз медленно и плавно, как бы слился с этим движением, неторопливым и нечетким, как жизнь неохватного глазом потока. Он жил этим движением, был частицей его. И если бы мать увидела в эту минуту замороженно-медленные взмахи его рук и широко открытые, неподвижные, как бы стремящиеся вобрать в себя весь этот мир глаза, она улыбнулась бы и не то спросила, не то сама себе сказала:

— Нгэлирей...

Это значит — мальчик в восторге, он удивлен, заморожен. Наверное, все здесь, в этом слове, есть. И вместе с тем, в нем не только это. Открывает мир? Стремится охватить увиденное и навсегда оставить в душе? Да, да. И об этом, об этом — нгэлирей.

Олени, олени, олени... К мальчику подошла и ткнулась в руки прирученная им, словно привязанная к нему, как собачонка, важенка Тумбэ. Она знала, что в рукаве его малицы припрятан кусочек хлеба. Для нее. И не ошиблась. Сжевав кусок, шершаво-мягкими губами ощупывая ладонь, Тумбэ как бы спрашивала: "А может, еще есть?"

— Иди, иди, хватит!

Уже не перестук копыт, не тихий звон рогов и не Тумбэ, привязчивая, ласковая, владели его сердцем. Аркан! Он видел, как над зарослями рогов, где-то там, в отдалении, возле чума Ваккы Лаптандера, мелькнул неслышимый отсюда развертывающийся черною молнией в безоблачно-синем небе кожаный жгут.

"Уже ловят!"

Он побежал к отцовской нарте: на ней должен лежать и его — еще не настоящий, коротенький, но которым все равно можно заарканить любого норовистого хора, — аркан.

"Поймать бы Тайсэра!" — подумалось Ламдо, потому что Тайсэр, белолобый грудастый бык, всегда выводил из равновесия даже отца. А если за Тайсэром гонялся сосед Ваккы, тогда и шум и крик стояли на всю тундру.

Чувствуя коленками тяжелый подол малицы и сразу вспотев, Ламдо думал, что не надо было торопиться надевать эту нарядную, новую, в которой поедет в интернат, одежду. Старенькая, вытершаяся, потому легкая малица как бы сейчас была хороша!

Отбросив капюшон, ушами почувствовав свежий ветерок, мальчик побежал еще быстрее. Оглянулся. Тумбэ, неторопливо перебирая ногами, бежит следом, не отстает. А ему-то казалось, что он несется быстрее разогнавшейся с горки упряжки! Надал еще...

Олени неторопливо и вместе с тем споро растекались перед ним. Только что перед глазами как будто серо-белая стена: лес рогов. Но вот уже эта стена где-то дальше и все раздвигается, раздвигается. А позади, где был чум и где, казалось, очень много свободного места, уже тоже серое море, и чум утонул в нем, и только виднеется самая верхушка, над которой вьется дымок.

"Однорогий?.. Тоже кому-нибудь в упряжке будет нужен!"

Остановившись перед копанишей, неглубокой ямой в снегу — тут олени добивались до ягеля, — присел, размахнулся:

— И-и-эх!

Аркан шепеляво свистнул, рассекая воздух.

— Чез! Чез! Попал! — На остром тычке, самой верхушке единственного рога оленя, лежала ременная петля. — Нука, беги!

Ламдо уперся ногами покрепче, готовясь к тому, чтобы удержаться, не сдвинуться с места, когда в руках натянется, задрожит напряженная ременная струна.

Однорогий небрежно опустил голову, мотнул ею, как будто бы отряхивался, — аркан упал в снег.

— И-их! Хитрюга!..

Теперь повернулся. Побежал. Почему бы с петлей на рогах не удирать? Тогда бы не убежал дальше длины аркана!

Тумбэшка ткнулась в спину мордой. Не то торопит — бегать ей понравилось, не то хлеба еще просит — все бы только хлеб ела!

— Отстань! Вон он! Тайсэр! Вон он!

По-ошла круговерть! Белолобый, грудастый, с мощными рогами кружится вокруг двух десятков друзей своих и подружек. Те никуда не убегают, тут же с места на место шарахаются — кучкой сбились. Знают, не за ними охота идет. А Тайсэр вокруг, вокруг них, поднимая высоко ноги и совсем, кажется, не торопясь, бегаёт. Был бы подлиннее аркан, метнул бы его прямо через всю эту кучу.

"Ну, Тумбэшка, поднажмем! Может, догоним важного Тайсэра!"

Метнул аркан — только по спине Белолобого погладил. Доволен Тайсэр. Отбежал чуть, шагом пошел. Знает, что собирать ременную веревку дольше, чем метать ее.

"Ну, погоди, сейчас тебя перехитрим! Вон где твои рога качаются. Не будем вокруг твоих дружков, а прямо между ними к тебе полезем. От маленького тебе убежать легко. За-

то маленького тебе из-за твоих дружков не видно. Вот и подберемся”.

Ламдо крался медленно, почти вприсядку, как русский парень однажды в клубе поселка плясал. Олени не шарахались, расходились неторопливо. Вот два-три всего лишь впереди. А за ними рога Тайсэра.

— Ну-ка, не торопись. Руку назад подальше оттянуть, как отец учил. Тумбэшка, дурная, не суйся под аркан! Отступись подальше!.. С корточек, как сейчас сижу, не вскакивать, а взвиваться. Руку выбросить! И аркан, чтобы как рука: не бездушный ремень летит, а будто рука вытягивается, стремительно — так отец учил. И-и-и-эх! Че! Чингэй! На рогах!

Тайсэр стоит ошалевший. Только что перед ним его дружки были. А теперь его дружки — в обе стороны. И вот он, Тайсэр. И перед ним кто?.. Еще не знает Тайсэр такого пастуха в нарядной красивой малице. Невысокий пастух. Голова без капюшона, маленькая. Аркан короткий: всего лишь копаница отделяла пастуха от Тайсэра. Да кто же это все-таки объявился вдруг? И взвился Тайсэр! Не стал трести рогами. Не стал умничать, как однорогий. Взвился — рога высоко, передние ноги в воздухе. Пастух свалил сразу. Но тут же вскочил пастух и изо всех сил ногами в снег уперся. Тянет к себе Тайсэра что есть мочи. Белолобый, не столько силе подчиняясь, как дивясь упорству махонького, в нарядной малице, голову свою ему легонько отдает, поворачивает за арканом. Совсем будто бы сдался. Да как опять махнет! Пастух опять — кувырк. И головой в снег. Но тут же вскочил, упирается. В снегу под ним уже ямка. И он по самые верху бакарей в этой ямке. Еще раз перевернул его Тайсэр.

Кто-то должен сдаваться. Хэ-хэ! Ох-хо! Белолобый, кажется, выдыхается. Э, да яма в снегу, которую под собою Ламдо выбил, все растет, приближается к еще более глубокой, чем она сама, копанице. Упереться уже не во что. И Тайсэр это как будто бы почувствовал. Новым махом рогов, опутанных арканом, свалил пастуха. Повернулся и побежал. Ламдо, вцепившись в ременную бечеву, поехал вниз лицом.

В копанице снег лежит. Если просто так смотреть в нее, ничего, кроме снега, не видно. Как будто добирались олени до ягеля, да не добрались. Снег. А вот по лицу, когда копаницу на животе переезжал, как будто жестким голиком, которым с бакарей на крыльчке интерната снег сбивают, прошлись. Кустики березового стланика здесь лишь чуть-чуть припорошены. Оцарапали лицо. Проехал копаницу и — головой в сугроб. Снег — в рот, в нос, в уши, под малицу. Кажется, нырнул — теперь не вынырнуть! Нет. Прострелил откос копаницы, уже тот, где Тайсэр, и выскочил наверх. В руках боль. Как будто их в плечах вывернуло. Ладони, в которых аркан зажат, словно ножом режет. Эх, если бы Тумбэшка, которая сейчас, наверное, следом бежит, не важной была, а оленегонною лайкой Алтоне! Она бы лаяла сейчас, Тайсэра бы останавливала! Помощь звала... Бросить аркан?

— Держись!.. Держись! Любой ценой!

Отец! И еще кто-то с ним бежит. Наверное, Ваккы? Это хорошо, если Ваккы. В его чуме тогда все узнают, как Ламдо с Тайсэром сегодня справился. Вера, наверное, смотрит и потом удивится: “Я всегда думала, что Ламдо еще маленький. А он уже пастух”. Надька не будет думать, что в классе самый сильный да ловкий Славка Тэсьда.

Его поставили на ноги. Выбивали снег из малицы. Доставали пригоршнями из-за ворота. Выдували из ушей. Лицо, поцарапанное и все в капельках от растаявших снежинок, вытирали теплой шкурой рукава.

— Разве это не мой сын, Ламдо Яптуэнэ? — говорил гордо отец.

В свитере, гологоловый — от головы его шел пар, и черные волосы потому казались слегка посеребренными, — он был выше всех и плечистее. У него и руки были самые сильные. И поэтому, наверное, если бы кто другой говорил с такой гордостью, как говорил сейчас он, Ханси Яптуэнэ, людям это, может, и не понравилось бы. А его все слушали и улыбались.

— Это мой сын! Какой пастух будет, а! Тайсэра взял! Нет, любой ценой... Я издала поглядываю. Думаю, не на того, парень, нацелился. Не на того! Тайсэр — это Тайсэр, и твой аркан еще короток. А он, любой ценой... Какой пастух будет, а!

\*\*\*

Стадо отодвинулось дальше от стойбища. Как будто оленям надоела суета возле проснувшихся чумов, и они разошлись в стороны. Темная кайма отхлынувшего от стойбища стада очеркнула широкое свободное пространство, на котором теперь, словно сблизившись друг с другом, стояли, дыма макоданами, три чума. И что делалось возле одного, хорошо виделось от других.

Возле каждого чума запрягали оленей, укладывали вещи на нарты. Но только вещи. И то немногие. Стойбище не собиралось перекочевывать. Так, что-то самое необходимое брали в дорогу.

Апойне позвала мужа и сынишку обедать: дорога дальняя, и нужно хорошо поесть.

Ханси, радостный и потому шумливый более обычного, стал рассказывать, как Ламдо ловко заарканил Тайсэра. Потом взял с земли перед очагом игрушечный катер, который сегодня с самого утра, еще когда все спали, выстрегивал Ламдо, и немного погрустнел.

— Раньше ты все олесек строгал. Да нарты, — сказал он Ламдо, уплетавшему строганину.

— Растет, — сказала мать и посмотрела на сына так, как только она умела смотреть: ласково и ободряюще, и с той грустью, которая сразу же передавалась мальчику и наполняла грудь его тихим, долго не остывающим теплом.

Ни у кого нет такой мамы, как у Ламдо. Бригадиром второго стада всех этих оленей, что здесь, возле стойбища, считается отец. Он самый старший здесь. А мама — его старше, главнее. Если даже о чем-нибудь они спорят, Ханси пошумит, пошумит и все равно согласится с мамой. Потому что мама грамотная. Она училась в Игарке. В педучилище. И могла стать учительницей. Но приехала однажды на каникулы, и Ханси ее не отпустил. Ну, не то чтобы не отпустил. Если бы мама захотела, она бы все равно уехала. Но уж так получилось, что она не уехала. Стала кочевать с Ханси. И теперь иногда нет-нет да и говорит:

— Зря я, конечно, это сделала.

Пришла бабушка. Она была в чуме Ваккы. Прощалась с его дочками, которые сегодня тоже уезжают. Ламдо любит бабушку больше всех. Она сухонькая, маленькая. Взрослые говорят, что это уже от старости. Чуть побольше, чуть-чуть она выше восьмилетнего Ламдо. Вся белая, похожая на

чайку, — ни одного черного волоска. И добрая-добрая, хотя все время ворчит и ругается.

Вот и сейчас не присела еще к столу, где сразу и вареное мясо, и строганина, и чай, начала охать:

— И что же это делается на белом свете! Нет, нет, видать, конец скоро белому свету!

— Что случилось, мама? — спросила Апойне.

И хотя в ее голосе озабоченность, Ламдо чувствует, что его маме хочется улыбнуться.

— Нет, раньше был порядок. Для чего сябу существовали? — Ламдо знает, что сябу — это "грязные" нарты для самых плохих вещей. — Собрались кочевать или в гости ехать, — продолжает бабушка и прихивает и привздохивает, выражая свое неудовольствие, — ведь никогда грязной вещи женщина не положит на другую нарту. Сябу для чего?.. Ну ладно, пусть теперь нет сябу. Так почему грязную вещь вместе с чистой в один чемодан класть? Положила бы в отдельный мешок. Да и на самом задке нарты приторочила бы. Нету порядка! Гибнет белый свет! Гибнет!

— Кто это с грязным чистое вместе кладет? — мама спрашивает.

Отца женский разговор не интересует. Он ест, потому что лучше других знает: дорога ой какая неблизкая!

— Старшая Ваккы...

"Вера?" — чуть не вскричал Ламдо. Никто не знал, что в эту голубоглазую, высокую, румянощековую девушку, старшую из дочерей Ваккы, мальчик был прямо-таки влюблен. Нравилось ему, как она говорит: звуки будто немного застревают в горле, рокохот там. Нравилось, как она смеется: откидывает назад голову, и черные короткие косы взлетают над ушами. Глаза, когда она смеется, будто прячутся — узкие совсем щелочки остаются. Очень нравится мальчику Вера. Потому ведь и Надька, младшая сестра (не самая младшая, еще одна есть, та за подол материнной парки еще держится, ходить учится), тоже нравится Ламдо. Потому что Надька похожа на Веру. Только вертлявая. И еще тем нехорошая, что думает, будто сильнее и ловчее Славки Тэсьды никого на свете нет.

— Вера, кажется, аккуратная девушка...

Хорошая мама, защищает Веру от бабушки.

— Какая же аккуратная? — бабушка, как чайка, готовая взлететь, взмахивает руками-крыльями. — Какая аккуратная? Свои чулки, капроны или как она их там зовет, положила в чемодан, где платья лежат...

— Ну и что, чулки?

Бабушка, кажется, летит. Она машет руками много-много раз. И даже удивительно, почему не отрывается, не вспархивает над шкурой, на которой сидит.

— Чулки! — Возмущение в ее голосе. Все стойбище от стыда должно покраснеть перед бабушкой. — Чулки! Вместе с платьем! Да она не девочка. Ей уже пора пришла. — Чему пора пришла, Ламдо, наостривший уши, понять не может. Хорошо отцу: он ничего не старается понять, ест себе да ест. — Она "грязная" уже! Сямэй она!

— Ой, мама, — у мамы будто зуб болит, скривила щеку. — Да полно вам! Девушка в пору цветения входит. — "Вот это правда. Вера, как будто тундра в начале лета, — вся цветет. Не то что вертлявая Надька". — А вы — грязная!

— А Надьке тоже нельзя чулки с платьями класть?

— Ты... Пи сармы!

Бабушка уже второй раз сегодня величает его "ночным духом", "пи сармы". Когда еще спали, а Ламдо не спал, по-

тому что не спалось, бабушка ворчала: "Пи сармы! Пи сармы!" Теперь помимо того, что ночным духом обозвала, еще и свой палец, как стрелу, в лоб Ламдо пустила. Хорошо, палец до лба не долетел, не воткнулся в него.

— Почему во взрослые разговоры лезешь? Разве же из тебя мужчина получится?

"Ах, отец, значит, мужчина! Ест себе да ест и будто ничего не слышит! А я, хотя и Тайсэра заарканил..."

Кружилась вокруг ног и повизгивала, будто зная, что прощается надолго, оленегонная лайка Алто. Тумбэшка опять выпрашивала хлеба. Принес ей в последний раз. Она ошупывала его ладонь шершавыми, шекочущими губами, потом большими неподвижными глазами смотрела в глаза Ламдо, будто снова спрашивала: "Больше не будет?"

— Ладно, иди, иди!

Мальчик почувствовал, что если Тумбэ все будет смотреть вот так печально и пристально, то еще, чего доброго, захочется заплакать. Прогнал важенку. Принялся, не ожидая отца, запрягать оленей.

Возле соседских чумов уже кончили запрягать. Ламдо увидел, что ребята в малицах и парках, в расписных бакарях выглядят более рослыми, чем там, в интернате, когда переоденутся в русскую (европейскую) одежду.

Вышел из чума отец, готовый в дорогу. Похвалил Ламдо, что запрягает хорошо и спорно. Мать обняла и поцеловала сына в нос и обе щеки. Появилась суетливая бабушка. Покрепче затянула шарф на шею Ламдо. Стряхнула с подола его малицы снег. Стала говорить:

— Приедешь в интернат, малицу, бакари сними, уложи в мешок, отдай отцу. Там еще, чего доброго, затеряют. Заячи рукавички, которые у тебя в мешке, не теряй. Носи. Баловством не занимайся. С плохими ребятами не водись. Русских, которые тебя учат, слушайся.

Нагнулась чуть ниже, носом как бы пролезла между ухом и капюшоном, заговорила быстрее, но тише:

— Если будут учить, что не надо есть строганину, не слушайся. И если будут говорить, что сырое мясо — плохо, а оленью кровь пить не надо, не слушайся. Вон твоя мать разлюбила оленью кровь — теперь все на голову жалуется. Таплетки завела. Смотри не приучись вместо мяса таплетки кушать.

Потом стала искать нос внука. Хорошо, что Вера и Надька Лаптантеры были далеко, ничего не видели, и Ламдо дал бабушке поцеловать свой нос.

Но вот мимо чума ветром пролетает на упряжке сосед Ваккы. За ним, поднимая снежные вихри, двинулись нарты дочерей.

— Ну, поехали! — Ламдо принялся отвязывать потяг.

— Отец, сын отставать от других не хочет! — поторопила мать замешкавшегося Ханси.

— А мы и не отстанем. Тайсэр не любит ходить в конце аргиша. — Ханси поднял хорей.

Когда снежные облака, поднятые нартами, улеглись, оставшиеся возле чумов могли видеть лишь темную цепочку упряжек, едва различимую там, где снега сливались с небесами.

\*\*\*

Ламдо хряснул только раз — и чурка развалилась. А Славка, всегда хвастающийся своей силой, ударил по чурбаку — колун отскочил от сырого мерзлого дерева, как мя-

чик. Славка рассердился, взмахнул еще сильнее — чурка зубастою щучкой захватила железо колуна вместе с топорищем, попробуй отними! Вот опять заругается школьный сторож, он же истопник, на этих лешаков, которые лезут не в свое дело и только пакостят! Но главное дело не в истопнике-стороже. Надька как раз высочила на крылечко: покричать что-то хотела, но увидела состязание возле школьной кочегарки и застыла с поднятой рукой. Видела она, как Ламдо одним ударом чурку развалил. И видела, как самый лучший ее Тэсьда колун в чурку засадил, теперь кряхтит, пытается вытащить.

— Мальчики, сочинение! Сочинение! — замахала, наконец, рукой Надька и заподпрыгивала на крылечке.

Славка обрадовался, бросил чурку с топором, побежал — смотри, какой дисциплинированный! Звонка еще не было. Ну и что, если сочинение! И даже если Клавдия Ивановна до звонка в класс, как всегда, придет. Вытащил бы Тэсьда колун, когда силач, когда везде, даже в кружке охотников, самый лучший.

Ламдо не торопясь, вразвалочку пошел к дверям, перед которыми, пропустив прошмыгнувшего мимо Славку, стояла озябшая и съезжившаяся Надька.

— Сочинение, — сказала она проходившему мимо нее — шапчонка набекрень, без пальто, только в школьной форме — Ламдо.

— Ну и что? — сказал он, не удостоив ее взглядом.

— Что! Что! — рассердилась она. — Бука несчастный!

Ламдо стало весело оттого, что Надька на него злится. Но он веселости не показал и за сочинение принялся с легкой душой.

«Кем я хочу стать».

Клавдия Ивановна предупредила, что сочинение ответственное. Его будут изучать в роно, и все должны понимать: они теперь не дети. Шестой класс. Каждый должен показать самостоятельность своего мышления.

«О чем, интересно, будет писать Тэсьда?» — подумал Ламдо, легко и даже красиво, потому что не торопился, выводя первые слова: «Я хочу стать...» — Наверное, Славка в Мересьевы метит. У него всегда, везде главный герой — Мересьев. Когда вырасту, я тоже буду летчиком. Прилечу в Бегичево на большом-большом самолете. Все люди, все-все ненцы, много ребятишек — все придут. «Здравствуйте, Ламдо Хансиевич! — скажут. — Каким большим начальником теперь стал! Увези нас в Москву». Я скажу: «Пожалуйста! В самолете сто мест!»

Другой раз полечу в тундру. На гладкое озеро сяду. Ненцы скажут: «На этом самолете командир — Ламдо Яптунэ, сын Ханси». Мама и папа обязательно приедут. Тайсэр в упряжке. Алтоне лает, за нартами бежит. Мама, конечно, оленьих языков привезет, печенки и большого жирного чира.

Потом еле-еле приедет бабушка. Она уже совсем старая. Наверно, скажет: «Абэй! Теперь наш Ламдо летающей лодки начальник». А что? Возьму и увезу бабушку в Москву. Нет, лучше в Ленинград. Пусть там вылечат ей все болезни. И сделают моложе. Есть, говорят, такие врачи.

Вера Лаптандер, Надькина сестра, посмотрит, скажет: «Неужели это Ламдо? Почему я раньше его никогда не замечала? А если замечала, говорила: «Не крутись под ногами! И не смотри на меня, как твоя Тумбэ смотрит, когда хлеба ждет». Вера теперь здешнюю школу уже закончила. Поехала учиться на ветеринара в Дудинку, в сельхозтехни-

кум... А Тумбэ уже совсем чужой стала. Нынче приехал на каникулы — не узнала. Дичится. Не подходит».

— Яптунэ, ты слишком долго обдумываешь начало.

Клавдия Ивановна не желает показать свою обычную строгость. Дети должны сосредоточиться.

«Конечно, конечно, надо начинать. Надька вон уже вторую страницу строчит. Она, конечно, как Вера Марецкая хочет быть. Это уж как пить дать. Артистка! В спектакле, который к Новому году готовили, малюсенькую роль дали ей — расплакалась. Главную роль давай ей! Артистка. Вертушка... В артисты пойти? Нет, лучше учителем. Строгим, строгим, как заведующий интерната. Палец вверх поднял — сразу все примолкли. Не то, что у Клавдии Ивановны. Она лицо строгое делает, голос у нее строгий, а все равно шумят. У меня не пошумят. Я буду заслуженным учителем, как ненка Ялм Хабаевна. Зимой ребятишек учу, летом живущих в тундре взрослых. Бабушку читать выучу. «Писармы! — будет ругаться бабушка. — Ночной дух! — Ничего, ничего — садись за букварь. Это какая буква? — А. — Ну-ка подольше тяни. Как воздух выдыхаешь: а-а-а».

— Яптунэ, ты почему зеваешь? Пора уже начинать!

«Конечно, конечно! «Я хочу стать...» Это уже написано. Как было бы хорошо, если бы эти слова еще не были написаны. Сейчас бы вывел: «Я хочу стать...» Ладно, обвести их еще раз: «Я хочу стать...» Кем же? Врачом хорошо быть. Врача уважают. Нынче летом сосед Ваккы заболел. Санрейс заказали. Вертолет прилетел. Оленей распугал. Врач, старенький дяденька, в белом халате, с чемоданчиком, на котором красный крест, шел от вертолета, а за ним все стойбище толпой. Надька не подпрыгивала, Вера всхлипывала. Бабушка и еще более старенькая мать Ваккы тоже следом за доктором семенили.

Говорили потом, что никогда никакого шамана с таким почетом не встречали. Доктор, заголив у посиневшего, начинающего умирать Ваккы живот, мял его, ошупывал. А потом ругался. Говорил: «Вы знаете, сколько один час вертолета стоит?» Много денег, оказывается. Оленья купить можно. «А вам, — это доктор ругался, — чтобы клизму сделать, надо санрейс заказывать!» Ваккы радовался. Веселый, оживший, приглашал доктора попить свежей оленьей крови. Печенки отведают. Оленья в честь доктора забили. Праздник был. Когда улетел доктор — все равно праздновали. Ваккы с того света трубкой резиновой вернули».

«Доктором буду. По стойбищам буду разезжать. Животы шупать. Ругаться на Ваккы, чтобы правильно ел... Или плотником? Как здешние дядьки, которые бревна тешут, дома складывают. Построю всем дома. Будут мама, папа, бабушка жить, как в интернате. Просторный, светлый дом, а вокруг... Олени? А когда съедят олени весь ягель возле дома? Тогда как? Как с домом быть?..»

Олени. Олени... Однорогий опять аркан сбросил, обманул. Убегает. А Тайсэр... Нет, не уйдешь! Лицом по снегу, за воротником снег. Во рту снег. В ушах, глаза забило... Нет, не уйдешь, Тайсэр!..»

Клавдия Ивановна подошла и мягко, боком потеснив, села рядом.

— Ламдо, — сказала тихо и заботливо, как говорила однажды, когда он заболел, лежал с температурой и Клавдия Ивановна приходила навестить его. — Что сегодня с тобой? Ты же всегда был сообразительным мальчиком. Что ты уже написал? «Я хочу стать...» Еще раз написал: «Я хочу стать...» Но неужели ты не читал про Мересьева? А «Пят-

надцатилетний капитан"? В пятнадцать лет, почти в твои годы, мальчик управлял кораблем.

— Читал, — сказал Ламдо, чувствуя, будто вылезает из малицы, очень теплой, и потому здесь, в жарко натопленном классе, просто-таки дышать не дававшей. Сбросил как будто бы малицу. Остался, как все, в легкой школьной форме. Легко и свободно вздохнул.

— Читал, — сказал еще раз и посмотрел искоса на Тэсьду.

— Строчи, строчи. Посмотрим, кто сейчас останется. Если уж ты чурку не перехитрил!..

За сочинение "Хочу стать летчиком" Ламдо получил две оценки. За содержание — пять. "За орфографию, — так и написала Клавдия Ивановна, — тройку". Наделал много ошибок.

И хотя общая оценка, как это в классе все легко подсчитали, получилась "четыре" (точно такая же, как у Тэсьды), но Ламдо все-таки был первым. Что орфография? Что ошибки? Содержание! За содержание — пять!

На школьном вечере Надька Лаптандер, когда объявили "дамский танец", впервые пригласила Ламдо, а не Славку. И вообще после этого вечера стало неясно, с кем же она дружит: с Яптунэ или с Тэсьдой?

\*\*\*

Луна листвы...

Отзвенел комар. Говорят, что на заре незаметный еще никому холодок прихватил крылышки. Свалился комар во мхи. Не звенят его тучи. Не наводят страх на стада. И еще не дожди. И далеко до зимней стужи, как и до той стужи, которая побелит волосы на голове. Самая прекрасная пора — луна листвы. На душе тепло и грустно.

Бригадир Ханси Петрович. Какая бумажка из поселка ни придет, кто из райцентра ни придет — Ханси Петрович. Всегда — Ханси Петрович. На собраниях — в президиуме. К празднику — благодарность. Премии само собой. Нынче вон аракеты получили: волков отпугивать. В самую глухую ночь в небо пустишь — она красная или зеленая аракеты! — самого оторопь берет. Олени во все стороны шарахаются. Волки, наверное, за сто верст в страхе бегут. От ребятишек только житья нет: как прозевал, так они аракеты стащили и давай по верхнему жилищу, где, говорят, обитает сам Нум (Дух Неба), палить.

Ребятишки. Свои-то выросли. Старший сын Петр семьей обзавелся. Чум отдельный. Немножко как будто и чужой. Наверное, скоро на другое стадо поставят. Бригадиром сделают — только его и видели! Даже дочки, казавшиеся все время маленькими, вдруг выросли. Нынче весной приехали, одна после четвертого класса, другая после шестого — взрослый народ! С матерью спорят. Бабушку не признают: отсталый человек! На отца тоже косо поглядывают: зубы чистил, руки перед обедом мыл?

В груди Ханси особенный радостный звон — Ламдо... И вместе с тем грусть поднимается, тепло щекочущее к самому горлу — Ламдо...

Вот он, в старой, облезшей и потому очень легкой, нежаркой в эту пору, малице, возвышается над спинами оленей. Сидящему на нартах, дымящему трубкой Ханси видна голова сына. Шея кажется очень тонкой, потому что ворот-горловина да и капюшон малицы великоваты.

Короткие, черные, щетиной поднимающиеся над ушами волосы. Скулы обтянуты молодой блестящей кожей. Высокие скулы. В них больше сердитости, чем в шурящихся недобро глазах, высматривающих рога Тайсэра. Заматеревший, в годах уже бык припадает на ногу — надо посмотреть, что у него с ногой. Хороший глаз у Ламдо. И рука точная. Два раза аркан никогда не бросает. Подойдет ловко. И если даже издали. Любой ценой... Свистнул аркан и — на рогах.

Из чума выглянула Апойне. Повертела головой, как гадгара, недовольно осматривающаяся при опасности, сказала:

— А ведь летит...

Ханси передвинул легкую шапочку, которую носил в самую жару, с правого уха на левое.

— Что тебе взбрело? И комариного писка не слышать...

— Мать ошибиться не может.

Старая Марфа — у матери Апойне имя такое, потому что еще в те давние-давние времена, когда она родилась, крестил ее настоящий русский поп — почти ослепла. На ошупь шарится по чуму и возле. А вот слышать как будто еще лучше стала. Но сейчас — Ханси-то в этом уверен — бабам, и старой, и молодой, почудилось.

— Летит!

Голова жены скрылась в чуме.

А, кажется, и правда зазвенело комаром. Ханси передвинул шапочку с левого уха на правое, прислушиваясь, забыл про трубку. Она погасла. Ламдо-таки поймал Тайсэра. Ведет. Припадает на ногу матерый бык.

Из чума вынырнула Апойне. За ней — старая. Как чайка, замахала крыльями. И с Апойне в один голос:

— Летит! Летит!

— Что вам сегодня не сидится? — вскипел Ханси.

И не посмотрел на Ламдо, словно сказал парню: "Ты не слушай баб. Мало ли что им в голову взбретет!" А Ламдо и за ним Тайсэр, припадающий на ногу, остановились. И на лице Ламдо, только что сердито озабоченном — всегда Ламдо в азарте, когда ловит оленя, — вдруг мелькнуло нездешнее, не пастушеское. Простым стало лицо, совсем парнишечьим, школьным. И вверх поднялось. Глаза по небу шарят.

Заболело в груди у Ханси, где только что было тепло и шекотно. Заболело, но надежда не гасла.

— Да это в экспедицию летит, — сказал, сдвигая шапочку на затылок, чтобы оба уха остались наружу. — В экспедицию. К нам бы прямо через сопки... — Сказал и увидел комара, появившегося над далекими южными сопками. Рос комар в лучах солнца и уже не звенел, но рокотал. Олени зашевелились, задвигались. Ламдо бросил аркан, на котором вел приседающего на ногу Тайсэра. К чуму побежал.

— Летит! — и радость в его крике — как острый нож в грудь Ханси. — Летит! Летит!

Олени хлынули от чумов, как рассыпанный на твердую, гладкую поверхность стола бисер. И на свободном пространстве, сблизившем чумы, которые до этого совсем друг для друга невидимые были, забегали, заматались люди.

— Летит! — парнишки, девчонки взвизгивают радостно.

Женщины суетятся. Мужики-пастухи не лучше баб — тоже от чума к чуму, а кто в чум, кто обратно, и среди парок, среди малиц костюмы ищут. Как будто бы комиссия из района приехала.

Из чума, чуть старую Марфу не уронив, выскочил Ламдо... Да какой же он еще тоненький! И какой он еще в руках, в ногах жиденький! Только что пастухом был. Настоящим, по-мужски и серьезным, и крепким. А тут парнишка парнишкой. Костюм коричневый. Из материала, который в ноябрьские праздники Ханси на премию выдали. Высокий стал в костюме, даже длинный. А жиденький...

Ханси стоял, опустив руки. В одной — потухшая трубка. В другой — аркан Ламдо, на котором Тайсэр. И странно: бык, опустив голову, не рвался на привязи, не стремился убежать, как все другие, подалее от чумов. Стоял, опустив голову...

На ягельную белую поляну, срывая вихри желтой листвы со стланика, росшего вокруг, садился вертолет.

— Надя!..

Ламдо стоял в двух шагах от нее. А что далее? Сказать ей, что она удивительно похожа сейчас на Веру, на ту, которую помнит еще с детства. Высокая, голубоглазая. Румянец во всю щеку. Когда говорит, звуки будто немного застревают в горле — рокочущий, мягкий голос. Смеется — откидывает далеко назад голову. Черные, короткие, но толстые косы взлетают за уши. Глаза словно прячутся — поблескивают сильным светом из глубоких узких щелок. Но Вера была всегда далекой, потому что старше на целых пять лет. Как сам Ламдо далек сейчас от младшенькой, третьей из дочерей Ваккы. Ей он часто говорил словами Веры: “Сэрне, не путайся под ногами! И не смотри на меня, как важенка, которая выпрашивает хлеба!”

А Надя... Надя совсем близкая. Последние два года сидели за одной партой, на школьных вечерах она танцевала с Ламдо. Чаше, чем с Тэсьдой. Славка, конечно, настырный. От него не отвяжешься... Но все-таки больше Надя дружила с Ламдо. А потом... Даже угрызения совести испытал Ламдо, когда летним днем они с Надей летели на одном вертолете — им ехать в одну сторону, а Славка остался ждать катер. Получилось, будто бы Ламдо увозит, уворывает девушку. На целое лето. И все лето он, а не Славка будет возить ее на быстрых нартах к далекому озеру, где она, как в протоке возле интерната, накупается и позагорает. Он, а не Славка каждый день, когда захочет, может зайти в чум соседа Ваккы и поговорить о том, о сем, украдкой наблюдая за Надей, раздувающей костерок под котлом. Он, а не Славка вечерами, когда начинают высыпать звезды и все ранее и ранее наступающая темнота приходит с прохладой близкого отсюда северного океана, может увести Надю от ее чума... И она с ним, а не со Славкой будет смотреть на крупные мерцающие звезды и слушать звон сталкивающихся рогов, будоражащий душу перестук легких копыт...

“Надя!” А что сказать более? И что говорить, и как говорить — об этом почти и не думалось. Было это совсем неважно. И какие слова могли быть важными, когда все время рядом? И можно было не говорить, а все равно чувствовалось все и понималось обоими одинаково. Поэтому только взгляд, настолько яркий и у него, и у нее, что все другие на секунду отворачиваются, — ослепляет всех других этот взгляд — остается меж ними...

— Пи сармы! — Это бабушка ругается.

Теперь у нее, когда глаза почти не видят, кругом и всегда ночные духи. Руки она выставила перед собой: его, Ламдо, ищет. К бабушкиной груди можно припасть. Обнять бабушку можно нежно. И дать ей нос... Седенькая, сухонькая, легонькая бабушка. Эх, если бы действительно увез-

ти ее с собой! К врачам бы. К волшебникам-врачам, которые от старости лечат. Да нет таких врачей.

Мама. Добрая, славная мама. Лучше всех. Собирается нынче на курсы радисток. Ворчат и бабушка, и отец-бригадир. “Зачем какая-то рация! Будут тут слова летать по воздуху! Оленей пугать. К аракет олени не привыкли. А тут — рация!” Мама лучше всех. И перед ней опять, как маленькой. Стоишь, и она тебя по плечам гладит. И волосы на голове ворошит. И обняла грустно-грустно... Слезу бы не выпустить из глаз. Слезу...

— Бригадир! — это кричат от вертолета. — Ханси Петрович! Обедать не будем! Извини. Нам еще на два стойбища. Призывники, давай бегом в машину!

— Зачем такой быстрой? — кричал Ханси сквозь гул мотора. — За-че-эм? Месяц мера вертолет обещали! И только минутка стои-и-ит!

Ответа он не услышал.

“Где чемоданчик? Пи сармы!.. До свидания, бабушка, до свидания! Мама, до свидания! Надя... Вертолетчик отдал Наде какой-то пакет, и она его спрятала на груди, под паркой. До свидания, Надя! Бегу к вертолету!.. Отец?.. Ах, отец... Где же отец?”

Он стоит, опустив руки, возле нарт. Плохонькая, вытершаяся, для летней поры, малица на нем. Какую только что и сам Ламдо сбросил. Лицо обветренное, краснота с чернотой. Скулы сильно выдаются, подпирают шурящиеся глаза. На волосах — иней. Солнечный день. И волосы под солнцем блестят, черные, как уголь, волосы. А на них иней. В первый раз увидел Ламдо: на голове отца сентябрьский, приметный еще лишь чуть-чуть, иней... Опустив голову, как будто трудно держать могучие, сильные, разветвленные рога, стоит Тайсэр. Нижняя губа опала. Как будто хотел прихватить росточек ягеля, да задумался, забылся — стоит неподвижно. И гомон вокруг совсем его не трогает. Где-то тут, неподалеку, такая же, начинающая стареть, Тумбэ...

— Призывники! Давай побыстрее! Три часа до захода солнца! Еще два стойбища — и Бегичево!

— До свидания, отец...

И чуть-чуть, как будто набирая силы для будущего, незнакомого и, видимо, нелегкого, коснулся грудью отцовской груди.

— Служи хорошо... Возвращайся...

Из окна вертолета смотрел, как ребятишки, стоявшие вызывающе близко от вращающегося винта, не выдержали, и их не то сдуло воздушной струей, не то, озорую, сами побежали в ветровом потоке — будто бы лоскутки оленьей шкуры погнало ветром. Погнало... И они, эти лоскутки, вместе с чумами, возникшими в окне на миг, вместе со стадами, на минуту заполнившими всю ширь видимых пространств, понеслись. Куда-то понеслись. Вертолет не шевелился, висел, только винтом грохотал оглушающе. А все, что под ним, что за ним, удалялось, удалялось, удалялось.

\*\*\*

“Что слышно о Ламдо? Какие успехи у сына?”

Бывало, этот вопрос — ну что тебе самый тонкий, с жирного брюшка чира кусочек строганины: во рту не слышен, растаял, а благодное тепло разливается по жилам, и приятность такая во всем теле, что будто не было долгой ночи на пронизывающем, остром холоде, под бездушным ровным мерцанием звездного полога. “Что слышно о Лам-

до? Успехи какие у сына?” И, расправляя плечи неторопливо, выпрямляясь горделиво, Ханси небрежно, как будто бы с полным отсутствием чувств, бросал:

— Учится... Еще дальше пойдет.

И когда сын служил в армии, так же отвечал на вопросы любопытствующих:

— Учится... Большой чин присвоили: ферейттор... Еще дальше пойдет.

“Что слышно о Ламдо? Успехи какие у сына?”

У, развелось ныне болтунов, у которых рты не закрываются! Только бы болтать попусту. О чем бы ни говорить, лишь бы говорить! Болтают, будто бы Ламдо, из армии возвращаясь, до Дудинки доехал да и застрял. Будто бы видели его с наганом на боку, в красивой фуражке на голове — милиционер! Собачий сын — если даже и болтают, то почему бы самому не написать. Девку тут увезли, пока его не было...

Дочь соседа Ваккы всегда считалась женщиной Ламдо. Письма от него получала. Правда, еще от кого-то тоже получала, но всегда считалось: женщина Ламдо. И вот тебе на! Любой ценой... Вместе со слухами, что Ламдо в Дудинке застрял, парень чужой в стойбище появился. Один раз приехал — в форме военной. Стало быть, тоже из армии недавно. Потом еще появился. А тут недавно свадебные нарты пригнал. Сяркою (выпивкой) залил чум Ваккы. Пришли в себя, огляделись, а его, Славки этого, вместе с Надеждой и след простыл...

Собачий сын — в Дудинке застрял!

Ханси лежал на постели из оленьих шкур прямо в малице. Заболел, конечно: кости ломит, грудь ноет. Смотрел в дымовое отверстие чума и молчал. Апойне шила себе нарядные, с узорами бакари. На другой стороне чума перебирала лоскутки оленьих камусов, оценивая их на ощупь, старая слепая Марфа.

Тихо в чуме, только слышен шелк наперстка Апойне. От этой тишины сердитость Ханси еще более тяжелеет. Всегда так: если человек в несчастье попал, так тут же беда за бедой на него валится. Ничего плохого Ханси не сделал, а Нум со своих небес почему-то плохим глазом на бедного пастуха посмотрел... Собачий сын в Дудинке застрял. Надежду из чума соседа Ваккы увезли. Мало этого жестокосердному Нуму: опять по лицу бьет. Три оленя потерялись. Среди них и старый Тайсэр. Совсем как человек этот олень, только говорить не может. Но хотя и сердитый, а все равно красавец! В стаде один такой был. И куда могли уйти олени? Почему до них запах родного чума не доходит? В чужое стадо забрели? С оленями из чужих бригад смешались? Если бы так было, пускай. А если волки? Волков много нынче в тундре. С вертолета их более что-то не стреляют. Карабин на бригаду один. Аракет бояться перестали волки — разобрались: пугает да не обижает аракет. Если так пойдет, волки вместе с оленями нас съедят.

Тишина, в которой пошелкивал наперсток Апойне, давила. Ханси нарушил тишину: нарочно громко кашлянул. И еще больше разозлился: эти женщины сидят себе, молчат, шуршат шкурками, шелкают наперстками. Три оленя потерялись! Без трех оленей остались! Тайсэра нет! Думают ли они, женщины, как это плохо? Ханси от горя кричать хочет, а они сидят, молчат, шьют себе.

“Кхе!” — опять раздалось выстрелом на весь чум.

Апойне посмотрела на Ханси. Старая Марфа тоже повернулась в его сторону. “Опять шуметь, наверное, будет?

— в мыслях у той и другой. — Совсем покой от него ушел. Замучились с ним. Боишься лишнее слово сказать. Все думаешь: “Лучше помолчу, чем опять крик его слышать!.. Конечно, конечно, на его месте хоть кто таким станет: сын где-то застрял. Девку какую ветром сдуло! Теперь вот еще олени пропали. Тайсэра нет. И сам старится — откуда силы возьмутся? Может быть, теперь и надолго слег?”

— Не наступило время машинку заводить? — громко спросил Ханси жену.

Апойне удивилась: совсем недавно ведь проснулись. Время связи — три часа дня. Ум, что ли, у него кружать начал? Она сказала как можно спокойнее:

— До трех часов еще далеко.

— Куда опять спрятала мои часы? — Ханси снова кричит. — Раз часы ручные, почему им на руке не быть?

Апойне порывлась в своей тучако, рукодельной сумке, вытащила оттуда маленький бисерный кошелек. В нем и лежали часы Ханси, которыми еще лет пять тому назад его премировали.

Бабка насторожилась. Глазами не может наблюдать, ушами следит за зятем. “Каждый день Ханси стал дочку мою жевать. Она-то при чем? Но так вот тебе и надо, безверному. Кричал, бывало: “Что там Нум? Что такое Нум?” Теперь, кажется, понял, что Нум есть действительно. И не без глаз он, не без ушей — наказывает”...

Подошло время связи. Можно прямо в окружной центр, в управление сельского хозяйства, докричаться. Заторопил Ханси свою Апойне.

— Покрути посильнее “Рэсэво”. Покрути! Любой ценой!.. Чтобы в Дудинке услышали. Спроси: есть у них милиционер Яптунэ? Если есть, пусть за волосы к “Рэсэво” тащат. Любой ценой! Отец ругать милиционера будет.

Ничего не понимает Ханси, хотя и в бригадирах ходит. Время сеанса дается не для того, чтобы милиционера Яптунэ отыскивать, а чтобы отчеты сообщить: как стадо, нету ли падежа, нужды какие у оленеводов, заказы, просьбы...

“Может быть, как раз, когда о нуждах... — подумала Апойне, — то и обмолвиться о сыне?” Радистку сельхозуправления, которую никогда не видела, а все равно как бы с ней подружилась, может, попросить, чтобы привет передала. И сказала, чтоб приехал. Хоть в отпуск”.

— Алё, алё! Я — “Октябрь”-два! Я — “Октябрь”-два! — тоненький голосок Апойне разносится на все стойбище. Даже оленегонная лайка Алто, потерявшая с годами резвость и теперь больше живущая в чуме, завизжала, запрыгала молоденьким щенком, мол, слышите, слышите, собаки и люди, это она, моя хозяйка, свою умную машину крутит! Хозяйки других собак не умеют так!

— Алё, алё, Дудинка! Я — “Октябрь”-два! Я — “Октябрь”-два! Как слышите меня? Прием!

Ханси под руку старые бакари попались. Готов ими запустить в обшарпанный “РСО-5”, в котором то возникает голос, то проваливается: как будто Дудинка на нарту села, — то за сугроб унырнет, то опять на самый гребень сугроба вынырнет. И эта мать, вырастившая такого сына, все больше “алё” да “алё”, цифры кричит, то и дело: “Как слышите? Прием!” Никак до главного не доберется.

— Есть прием. Есть...

— Громче говори! Кричи! Любой ценой! Чтобы сам, если он там близко, слышал!

— Не мешай, пожалуйста. И так питание село... Дудинка! Дудинка! У вас милиционер Яптунэ... Прием! Прием! Алё! Алё!

— “Октябрь”-три! “Октябрь”-три! Это я — “Октябрь”-три! Не прерывайте прием! Яптунэ! “Октябрь”-два, к вам это — “Октябрь”-три. Александр Яр говорит!

— Тьфу! Разбойный человек! — Ханси запустил мягким бакарем в “РСО”. Зеленый ящик на досточке, еле укрепленный на колышках, свалился сразу на землю. “Рэсэво”. У Апойне наушники с головы сдернуло. Но “Рэсэво” и на земле лежит, а все равно кричит на весь чум голосом Александра Яра, бригадира третьего стада, старшего зятя соседа Ваккы.

— Яптунэ! К тебе темная важенка с теленком не приблудилась? Два дня ищу! Прием...

Ханси выхватил микрофон у Апойне:

— Алё! Алё! Не было важенки. Не было. А трех моих не видал? Тайсэр с ними. На ногу припадает. Прием!

— Следы видел. Видел следы. Думал — дикие. В твою сторону пошли. Завтра жди. Передай Ваккы, еще один внук у него! Орет! Верка, мать, спать не может. Прием!

— Я говорю, сломай ты эту свою машину! — бросил в руки Апойне микрофон. — Как Дудинку, так она не слышит! А этого, орущего на всю тундру!.. Но передай в следующий раз собачьему сыну: сам в Дудинку приеду! Сам! Любой ценой! Обломаю об него хорей! Вспомнит он отца и всех, кого в своей красивой фуражке забыл!

\*\*\*

В квартире пусто: у Инны вещей немного. Ламдо ничего тоже купить не успел — одеждой обзаводился. Больше всего игрушек, пожалуй. Целый угол большой комнаты завален. Игрушки Олега. Инна требует, чтобы Олег называл Ламдо папой, а тот упирается, говорит:

— Папа был совсем не такой.

Уехала Инна в отпуск. Дождалась первых солнечных дней и... Сначала в Гагры — Олегу солнце врачи рекомендуют. Потом заедет на родину. А, может, сначала на родину, в Хакасию. А потом в Гагры. Где она сейчас, не пишет...

Холодно в квартире. Топить, что ли, перестали? Кажется сыро и зябко. На улице такого нет: идешь и если даже лицо чувствует прохладу, то в шинели, в фуражке тепло. А тут и одетым замерзладу.

Темно в квартире. Окна во двор. Деревце перед самым окном. И ящики какие-то навалены. Магазин задней дверью во двор выходит. Рядом, за стеной, магазин...

Плиту разжигать не хочется. Чай — который день все чай да чай, другое готовить руки не поднимаются — надоел. Нет, в общежитии было как-то лучше. Встал да пошел в столовую, в кафетерий. А тут вроде бы квартира. Деньги Инна тратить шибко не велела. Может, в Гагры высылать придется. Или на родину. На обратную дорогу с Олегом.

Пришел Никита. Милиционер, с которым познакомился на пароходе еще в Красноярске. Никита двумя годами раньше демобилизовался. Теперь в Дудинке работает. Так расхваливал свою милицию, что как только на дебаркадер сошли, Ламдо уже другой дороги не знал, шел за Никитой, как олень на аркане.

— Какие новости от твоей паспортистки? — не зовет Инну по имени. Паспортистка да и только. Подшучивает над тем, что получал паспорт Ламдо и познакомился с Ин-

ной. В кино ходил. В гости к ней захаживал. А потом и вообще переехал из общежития, где Никита по сию пору его кровать стережет, мол, на всякий случай.

— Пока не пишет.

— Не горюй. Море, оно, знаешь, какое! Оно забыть кого хочешь заставит. Лежи. Загорай. Нырнул — вынырнул. Опять лежи. Поедем на охоту? Я насчет отпуска за свой счет намекнул. Не возражают. Мне — как старослужащему. Тебе — за похвальное прилежание и усердие.

Поехали. Снег рыхлый, на глазах оседающий. Ручьи журчат везде: куда текут, почему? Везде ровно, а они все равно куда-то, зачем-то. Просторные проталины, выйдя из-под снега серыми, обсохнув, тут же загораются пока еще цветами прошлой осени: бурым и желтым листом стлаников, багровыми мхами, вечно зеленою ягоdnиков, голубоватыми ягельниками. Под сапогами чавкает: вода, вода. На кочку, кажущуюся высокой, присядешь — все равно вода.

Не летят ли гуси? Не слышно ли их голосов? Ламдо лежит на спине. меховая, крытая брезентом шуба не пропускает сырости. Лежит, разбросав в стороны руки, смотрит на серое небо, по которому бегут холодные, обещающие ветер тучи. Хорошо дышится в тундре, в груди просторно, свежо. Запахи прошлогодней осени, мягкие, грустные, шекочут ноздри, куда-то зовут. Сел вдруг Ламдо. Гуси! Где-то близко! Во-он летят! Как аргиш по тундре, маленькими точечками, вытянутыми в стороны, с песнями, плавно двигался их караван. Никита что есть силы дунул в манок. Загугукал, подражая вестникам весны, и Ламдо. Должны гуси, услышав призыв сородичей, повернуть, принять приглашение садиться на проталину.

Кажется, поворачивают. Лежа на боку, лицом к проплывающему в небе каравану, Ламдо вытащил правую руку из рукава и пустым рукавом замахал неторопливо: должны думать гуси, что это братья машут им на проталине крыльями, приглашают: “Сюда! Сюда!” Когда устала правая рука, махал левым рукавом. Летят. Не хотят опуститься. Тогда, сложив ладони лодочкой, принялся Ламдо дуть в них, и над тундрой понеслось: “Лы-лак-лак! Лы-лак-лак! А-ха-ха! А-ха-ха!”

Не слышат гуси. Или слышат, да обман понимают. Не садятся на проталину. Проплывают мимо длинными ровными аргишами.

Ночевали в охотничьей избушке. Разогревая болгарские консервы, голубцы в банках, Никита утешал друга:

— Завтра отведаем гусятин!

У железной печки с прогоревшими боками, бросавшей багровые отсветы на закопченные стены старенького жилья, расположились уютно. Разговоры вели, как это водится у мужчин, о женщинах. А потом — о самом разном.

— Смотри-ка ты! — удивился Никита, узнав, что Яптунэ — это не больше не меньше, как гусиная лапка. — А как же тогда твоя фамилия будет по-русски? Гусаков?.. Нет, совершенно не подходит. Гуселапов? Такой фамилии у нас, у русских, кажется, и нет, слишком мудрена. Как же тебя переделать?

— А зачем меня переделывать? — брови Ламдо поползли вниз, полуприкрыли глаза. — Яптунэ — и понятно, и хорошо.

— Да я не о том, чтобы переделывать, — Никита тоже, как и Ламдо, нахмурился. — Я для себя постигнуть стремлюсь: у разных народов — по-разному. И все-таки одинаковое есть. Вот я и ищу это одинаковое. На свой манер измеряю. И вижу, что у вас совсем какой-то иной подход к



фамилиям. Может, совсем по-другому появились, чем наши. Значит, и другие слова, тоже совсем по-нашему непонимаемые, есть.

— Нгэлирей...

— Что это? — Никита насторожился, как будто слушал все еще звеневшее в его ухе незнакомое слово. — Название деревни? Или ансамбля?.. Нгэлирей.

Ламдо засмеялся.

— Наверно, гора? Нгэлирей... Какая-нибудь высокая гора.

— Глагол есть. В третьем лице...

— А существительного такого нет?

— Есть. Нгэлир.

— Нет, все-таки "нгэлирей" красивее звучит... Как это понимать?

— Ну, увидел человек что-то такое... и удивился. Восхищен — нгэлирей. Узнал что-то необыкновенное, задумался. В большом восторге. Заворожен. Рад. Ошалел. Значит — нгэлирей. Весь мир хотят схватить его глаза. Надолго хочет сохранить услышанное его ум. Нгэлирей, значит, человек.

— Сочиняешь.

— Да нет. Это мой народ сочинил.

— Удивительно. Я всегда думал, ты это так, сам по себе задумчивый. Скажешь слово и молчишь. Опять скажешь в самую точку — и рот на замок. А выходит, народ немногословный. Нгэлирей, а видишь, как много. Нгэлирей. Нгэлирей...

Олени. Олени. Олени.

Тайсэр взвился на дыбы. Свалил в копаницу. И поволок. Снег в нос. В глаза. В уши. За капюшоном малицы, как русский бы сказал, — пуд. "Любой ценой!" Отец в свитере. Над черными волосами, посеребрёнными инеем, истинным инеем, что уже не сходит, белое облако пара. "Какой пастух будет, а! Мой сын — Ламдо Яптунэ!"

Пригласили недавно в сельхозуправление. Удивился: какие дела у милиции в таком управлении? И тут вдруг — к рации.

— Алё! Алё! — тоненький далекий голосок. — Я — "Октябрь" — два. Я — "Октябрь" — два.

И как будто бы стрелу пустили в сердце: "Мама!" Женщина, сидевшая перед рацией, сунула в руку что-то холодное.

— Говорите... Ну, говорите же. — И видя, что ошалевший от неожиданности Ламдо не может раскрыть рта, отобрала у него железное. — Алё! Алё! Я — центральная. Он у микрофона. Он слушает вас. Прием.

И вдруг ругательства:

— ...Собачий сын. И!.. И!..

Тут же рацию выключили. Последнее, что слышал Ламдо:

— Вот погоди, я о тебя хорей ополовиню! Жди! Еду!

Полгода почти прошло. В последнем письме мать сообщает, что действительно отец собирается в Дудинку. Как только пойдут теплоходы от Бегичево, так и приедет.

Охота была неудачной. Вернулись ни с чем. Дома ждала телеграмма от Инны. "В Дудинку не вернусь. Подробности письмом. Береги квартиру".

— Мне эта твоя паспортистка всегда казалась ненадежной, — сказал Никита. — А вообще-то, — добавил он, — знаешь, что я заметил? Нет. Ты какой-то тундровый. Олений... В глазах будто бы олени. Хотя... Хотя, наверное, приживешься. Где наш брат, человек, не приживается!

\*\*\*

Переступив с палубы рейсового "Омика" на дебаркадер пристани Дудинки, Ханси осмотрелся неторопливо, выбрал на глаз мужичка постарее и потому внушавшего большее доверие, подошел к нему, напрягая все свое умение говорить русские слова, спросил:

— Милица где работает?

Мужичок, старенький, здешний, был, по всему виду, смысленным и добросердечным. Он сразу узнал, что перед ним человек издалека, может быть, из самого глухого таймырского селения. Человек не шибко чтобы знающий русский. Одетый в малицу, но в сапогах. В болотных, как в тундре ходят. Не чемодан в руках — мешок заплечный. А на голове приезжего русская шапочка. И озабочен чем-то этот человек. Шибко озабочен: где милиция?

— Небось, в дороге что-нибудь стянули, милай? — поинтересовался мужичок, прежде чем дать полный, все объясняющий ответ: куда пройти, как пройти.

Ханси примерно понял, о чем мужичок спросил. Но все-таки примерно: нужно было каждое слово поддержать в уме, найти свое взамен каждого этого слова, выстроить свои слова в том же порядке, что и русские. Примерно понял. И еще уловил, что мужичок добр, благорасположен. И потому не вступил с ним в разговор, который мог бы быть долгим и трудным, но повторил свой вопрос:

— Где милица работает?

Мужичок объяснил, как пройти. Проще простого. Садись на автобус вместе со всеми. На второй остановке сойти. А там два шага до милиции.

Но чтобы человек из тундры, чего доброго, не проехал дальше, не заблукал, мужичок поручил Ханси молодым пассажирам:

— Сразу после речного вокзала скажите, ребятки, сойти ему.

Шагая к милиции, Ханси уже начал понимать, что, оказывается, не все, нет, не все знает он про сложность белого света. Представлялось всегда, что милиционер — один. В Бегичево — один. Как-то приезжал из района в стойбище уполномоченный — тоже один. Нет, оказывается. Говорят, здесь, в Дудинке, их много, не один десяток. Ну, тем лучше...

В милиции за барьерчиком сидел милиционер. В коридоре еще несколько. Ханси понял, что дорогу ему указали верно.

— Где сын? — спросил Ханси сурово, подходя к барьерчику, за которым сидел глазевший на него приветливо и ожидающе молодой милиционер.

— Ваш сын? Когда задержан? По какому делу?

— Где сын? — Ханси был сердитый на этого милиционера не менее, чем на Ламдо. Он не любил их всех. Застрали в Дудинке! Их, может, ждут отцы. Матери. Невесту увезли. Бабка помирает...

— Где сын?

Милиционер был молод и потому, видать, еще не полностью владел наукой держать себя в узде. Он сразу же вспикел.

— Если ваш сын такой же горячий, — вскочил он со своего стула и прислонился грудью к барьерчику, в голосе его звенел металл, — то ясно, где он!.. По какому делу задержан? И когда?

Тут вдруг от тех, что кучкою стояли в коридоре, отделился один и быстро подошел к Ханси.

— Послушай, отец! — сказал он, широко разбрасывая в стороны руки. — Да ты не папаша ли нашего Ламдо Яптунэ?

— Ламдо, Ламдо, — закивал Ханси, обрадовавшись, что его так скоро и хорошо поняли. — Яптунэ, Яптунэ.

— Дорогой ты мой!

Милиционер, широкоплечий, грудастый, ну что тебе Тайсэр в молодости, с руками толстыми и твердыми, как дерево хорея, обхватил Ханси и притиснул к себе.

— Ну, таким и представлял! Ну точно таким! Как две капли с нашим Ламдо! Как две капли!

Он отпустил Ханси и, как бы разглядев его опять и удивившись, что да, это он, тут нет ошибки, опять сжал его в объятиях.

— Ну, Ламдо обрадуется! Ну, обрадуется! Он так ждет. К каждому “Омику” из Бегичево бегаёт. Почему же сегодня он не на пристани? Да, — отпустил Ханси, но не далеко, держал его за рукав малицы, — да он мебель сегодня упаковывает. Своей паспортистки! Ну, так двинулись к нему, отец. Двинулись! Я — Никита. Он обо мне тебе писал...

“Пи сармы!” — Ханси хотел быть злым. Как быть незлым — он ехал плюнуть собачьему сыну в лицо. Как быть незлым — он хорей грозился об него обломать. Не повезешь с собой хорей. Палку бы найти ему хорошую! Злым быть хотел Ханси. А тут этот грудастый, как Тайсэр, белоголовый, громогласный, не хуже Александра Яра, русский. Отобрал мешок, повесив себе за спину, и, если где лужа, доски мостков выложены, хватает за локоть, обводит опасные места — идет себе, идет.

Ханси злой был. Когда, налитый яростью, спешил от пристани в милицию, совсем вокруг ничего не видел. Не замечал. Теперь русский Никита рукою машет, как будто гусь на взлете, показывает:

— Строимся! Наблюдай, отец. Смотри! Как наша столичная Дудинка этажи растит!

Остановились перед домом. Высокий дом. У Ханси даже шапчонка с головы свалилась. Голову задирать надо, чтобы увидеть, где дом, а где уже небо! Ханси подумал: такие дома только в кино есть. И вот тебе пожалуйста! В Дудинке!.. Сколько же он лет в Дудинке не был? Давно не был. Последний слет передовиков, на котором Ханси грамоту вручали... Сколько же раз снег с той поры таял? Ох, много раз таял. Александр Яр со своей Веркой всегда в соревновании теперь побеждают. Росляков, секретарь окружкома, как-то заехал, укорял: “Что же ты, Ханси Петрович, молодым уступаешь?” Ты давай держись молодцом, Ханси Петрович. Вот этот грудастый, как Тайсэр, Никита, похож немного на Рослякова. Не был бы похожим, не доверился бы так, не дал бы себя на аркан взять Ханси Яптунэ.

— Нет, ты посмотри, отец, посмотри! Чем тебе не небо-скреб! Четыре этажа вымахал и еще растёт себе, растёт!

Пока стояли, смотрели — дом на глазах подрос. Так быстро даже одежду шить женщины в тундре не умеют. У Ханси сразу несколько вопросов родилось. Если все время строить и строить, то можно-таки до неба, какое оно там ни есть, твердое или не твердое, но достроить? А в пургу, а самую злую, когда только чум устоять может, а в Бегичево с деревянных домов даже крыши сдирает, такой высокий дом не упадет? И сколько же людей в таком доме жить мо-

жет? Наверно, все дома, все в Бегичево взять и сложить — как раз один дом получится...

Ламдо, оказывается, в таком же доме живет. К такому же огромному дому привел Никита Ханси. По лестнице долго поднимались — непривычно это для ног, колени сразу задрожали. Голова закружилась: надо же! Как тут люди каждый раз вертятся!

Никита толкнул одну из дверей, сам остановился:

— Проходи, отец, проходи!

Ламдо обнимался с какой-то большой вещью. Показалось это поначалу: обнимается. Оказывается, он ее веревкой обкручивал. Сначала она, видать, бумагой была обернута. А теперь бумагу веревкой прикручивал. Стоял в обнимку с матрасом Ламдо, глядел на Ханси и на Никиту — матраса опустить не мог. Прошел тогда Никита вперед, положил руку на матрас, попридержал его. Освободился Ламдо. Повернулся. Стоят и смотрят. Ханси возле раскрытых дверей. Ламдо возле своего матраса. Никита смотрит то на того, то на другого. Ханси, наконец, шаг вперед сделал. Руку чуть-чуть приподнял. “Ладно уж, — думал, настраивая себя миролюбиво. — В другой раз плюну. Если не послушает. Да и не пристало при чужом человеке самому срамиться. Сына, какой ни есть он непутевый, срамить. В другой раз”. Приподнял чуть руку с вытянутой вперед ладонью.

Ламдо быстро навстречу пошел. Может, как Никита при встрече, хотел обнять отца, прижать к груди. Но холодные отцовские глаза остановили. Не доходя шага до отца, застыл. И медленно, робко стал поднимать руку.

— Вот это да! — только и сказал Никита, когда они дотронулись ладонью до ладони. — Года четыре, кажется, не виделись? И, встретившись, только лишь поручкались... Вот это сдержанность.

Потом Ламдо суетливым стал: совсем как женщина. Матрас принялся разворачивать, укладывая его между больших досок.

— Просила Инна выслать мебель, — говорил он по-русски, то и дело взглядывая на Никиту, усевшегося на подоконник. В голосе Ламдо звучала виноватость. — Все уже упаковал. Вот... А куда отца положить? И посидеть не на чем.

Потом на кухне он тоже суетился. Поставил чайник на пустой черный кружок. Ханси еще подумал: “Совсем парень голову потерял”, но чайник вдруг ни с того ни с сего закипел. “Вон она, значит, какая — электроплита!” — сообразил Ханси, видя, что Ламдо ставит на второй кружок какую-то русскую еду, кажется, картошку. Тогда пошел к своему мешку. Достал кусок вяленой оленины и свежего, чуть-чуть присоленного, чира.

— Вот это попируем! — вскричал Никита и выскочил за дверь.

И тут же, вода еще в кастрюле не закипела, вернулся с саркой. “Легко это тут у них, — отметил про себя Ханси. — Не надо на центральную совхозную усадьбу ехать”.

Разговор в этот вечер шел ни о чем. Ханси про себя решил: поговорит с Ламдо утром, без лишних глаз. Но утром, когда Ханси еще ворочался на высокой кровати и все боялся упасть, потому спал или не спал — понять не мог, Ламдо и Никита поднялись с пола (они на полу спали) и пошли на службу. “Совсем как пастухи к своему стаду, — подумал Ханси, наблюдая их торопливые сборы, — подумал Ханси, наблюдая их торопливые сборы, — тут же пресек свои добродушные мысли. — Погоди же, — полуприкрытыми глазами посматривая на сына, говорил он грозно. —

Погоди, приедешь со службы, я для тебя палку приготовлю. Присмотрел я вчера во дворе хорошую палку".

Уже три дня прошло. А никак не мог Ханси к Ламдо подступить. То его дома нет, то вместе с Никитой зайвится. Первое время Ханси не скучал: привыкал к новой жизни. Удивлялся. Очень уж ему электроплита нравилась. Ничего нет! Ничего не надо. Повернул гладкую, на льдинку похожую, штучку — сиди, жди. Чайник за-а-акипел! Мясо, правда, долго варит. Но варит себе и варит. Ты сиди, ни о чем не беспокойся. Сам верховный Нум где-то для тебя дрова готовит!

Комнат много. Одна коридор называется. Говорят, что здесь не живут. Но Ваккы бы со всем своим семейством разместился здесь... Не живут. Еще одна комната — ванная. Тоже не живут. Чум тут не поставишь, но однако же... не живут. В двух комнатах лишь живут. Пустые сейчас комнаты. В одном только углу вещи свалены. Паспортистке Инне будут их отправлять. Что за паспортистка Инна? Кажется, на стене ее изображение висит. Белая, красивая женщина. Как будто бы из кино. Изображение это Ламдо, кажется, не собирается вместе с мебелью отправлять.

Совсем бы и неплохо жить тут. Да вот только по своим надобностям можно ходить только ночью, когда все спят. Ходит Ханси во двор, за сараи. Говорят, что эти сараи еще от старых деревянных домишек остались. Вырывают сараи. А то бы — беда... Ламдо объяснял, что тут, прямо в квартире, по своим надобностям ходить надо. Но если в чуме этого не делают, то почему в квартире можно? Тут все такое белое, чистое. И как же таким белым не дорожить? Нет, нет. Ханси понял объяснения Ламдо — что тут к чему. Но все-таки ждал ночи. Когда все спать улягутся.

Нравится Ханси и ванная. Только стесняется он при сыне раздетым, а сам поворачивать краны, чтобы хорошую, не сильно холодную и не сильно горячую воду делать, не умеет. Не научится никак.

А воды здесь как много! Откуда она бежит? И холодная, и горячая. Всегда есть. Не кончается. Ханси все время побивается, как бы не кончилась. А жаль так много воду чистую лить. Зря. Незачем. Готовую воду! Даже уже подогретую. В тундре беда, тяжело с водой. Лед, чаще снег — таять надо. Сначала лед выдолбить, привезти нужно. Снегу-то кругом полно. Так пока он растает, язык высохнет без чая. А летом женщинам воду таскать из озер разве легче? Тундра летом, как перина, мягкая. Ноги до колен проваливаются, попробуй удержись, не упав с полными ведрами воды. На нартах пытались привозить — не выходит, все расплескивается. Бочек с собой не навозишься, зачем лишний груз в кочевьях?

Вот машины в городе очень плохие. Каждая норовит задавить. И почему-то всегда именно его, Ханси. Если нужно перейти улицу, Ханси долго стоит и ждет, чтобы ни с той стороны, ни с другой ничего не было видно. В тундре куда легче — спокойно, свободно. Проезжай, проходи, где хочешь.

Еще пароходов в Дудинке много. Беда как много! Морские пароходы, большие, как дома. Говорят, что еще больше, чем дома. Груз привозят и отвозят, работы у них много. Только вот нехорошо пароходы делают, когда зимой на Енисее лед ломают. Не знают, что ли, что оленеводы на левом берегу Енисея кочуют, а их совхозный поселок Бегичево — на правом? Как ездить? И утонуть недолго — пароходы-то всю зиму ведь ходят! Двухметровый лед им нипочем!

Утонуть недолго. Оленеводы ведь самые нужные люди в тундре. Как пароходы это не понимают?..

Все-таки выбрал Ханси время для большой "говорки" с сыном. Сидели они вдвоем возле волшебной плиты. Но даже и на ней ничего не надо было варить, греть, кроме чая. Ламдо принес еду из столовой. "Совсем, конечно, хорошо люди живут, — подумал Ханси, видя сына с готовым супом и мясом, — сам верховный Нум костер для них разводит. Если надо, и суп варит... Только... Только кто все-таки оленей пасти будет?"

Вот с этим и подступил к Ламдо. Тот стал говорить, что на работе его хвалят. Ходит в спортивный зал — занимается боксом, это очень хорошее, интересное занятие. Руководитель говорит, что он боксер многообещающий. Если челюсть у него не стеклянная...

Ханси вдруг заплакал. Может, оттого, что сярки выпил больше, чем надо. Заплакал. И, застучав кулаками по столу, стал говорить, что если Ламдо забыл своих отца и мать, и старую бабу, которая вот-вот уйдет на тот свет, то он силой заставит его приехать. Он найдет на него управу. Он завтра же пойдет к своему другу, который в округе большой начальник, и Ламдо заставят поехать в тундру. Тут и без него обойдутся. Хватит здесь того же Никиты!

— К Рослякову пойду!..

Ламдо эта угроза встревожила. Он знал, что Росляков действительно помнит отца. И конфуз может выйти великий. Если отец представит дело так, что Ламдо сбежал... А откуда он, собственно, сбежал? И куда он сбежал? Это отцу так кажется. Ведь каждый волен устраивать жизнь так, как ему нравится. Ему здесь, на этой работе, рядом с таким другом, как Никита, с каждым днем все больше и больше нравится. Вот только...

Олени. Олени. Олени...

\*\*\*

Секретарь окружкома партии Росляков был в отъезде, в командировке. Принимал Ханси инструктор окружкома, парень чуть постарше Ламдо.

— В чем состоит ваша просьба, товарищ Яптунэ? Вернуть сына? Сбежал от родителей? Ну, тут мы вам, конечно, поможем. Насчет всяких беглецов у нас просто. Милиция у нас работает хорошо. Детская комната на высоте.

— Милица. Милица, — закивал Ханси, обрадованный пониманием этого молодого, который ему поначалу очень не понравился. — Милица. Там он. Там.

— Так вы уже знаете, где он? — удивился инструктор, считавший, что тундровик, приехавший издалека, не знает, где искать сбежавшего. — Он в милиции?

— Милица. Милиция. Красивэй пуражка на голове. Милица нравится, пуражка надел.

— Погодите, — построжал и стал менее приветливым инструктор. — Сколько лет вашему сыну?

— Мало. Мало. Совсем мало. Армий был. Домой не едет.

— Тью! — присвистнул инструктор совсем по-мальчишески. — Так ваш малец уже в армии успел отслужить. Работает в милиции?

— Милиция. Милиция, — кивал Ханси, радуясь пониманию и не уловив еще смены в настроении инструктора.

— Так это же совсем меняет дело, товарищ Яптунэ. Один вопрос — возвращение под родительский кров несо-

вершеннолетнего, сбежавшего, скажем, с намерением поохотиться на львов в Африке. И совсем другой вопрос — возвращение к родительскому очагу самостоятельного человека.

— Возвращение. Возвращение, — кивал головой Ханси, не все понимавший в быстрой речи инструктора.

— Мне кажется, товарищ Яптунэ, вы в данном вопросе стоите не на совсем правильных позициях. Человек отслужил в армии. Пошел работать в милицию. Перед ним открываются блестящие перспективы. Заочный институт. Станет судьей, прокурором, следователем. Займет ответственный пост в системе угрозыска. А может, прокурором нашего района будет или народным судьей? Вы будете гордиться сыном.

— Зачем судья? Прокурор! — Ханси понял, что инструктор уже не сочувствует ему и Ламдо, кажется, отдавать не собирается. — В тундре это не надо. Сделай прокурор Никита...

— Товарищ Яптунэ, посмотрите на этот вопрос более широко.

— Зачем милиционер? — Ханси рассердился и заговорил тоном не менее высоким, чем у инструктора. — Зачем милиционер? Никита есть! Никита олень не любит. Олень не знает! Пусть Никита на боку наган таскает.

— Неверное рассуждение, — парень покрутил головой и так усиленно, что, видимо, она у него закружилась — глаза прикрыл. — Неверно. Вот представьте, товарищ Яптунэ, попал, скажем... — инструктор говорил, с трудом подбирая слова. — Скажем, потрясен слишком человек. Радостью ли, горем ли. Не сумел справиться. Проконтролировать. Не злостный даже, скажем... Ну, не из этих, понимаете... Ну даже хороший человек. Из тундры приехавший. Не проконтролировал себя... Вырезвитель. Понимаете, попал, скажем, в вырезвитель. А языком владеть...

— Не попал! — сказал Ханси решительно. — Нарта сел, поехал. Холод, мороз — сразу протрезвел.

— Не скажите. Не скажите, товарищ Яптунэ, — не слав своей позиции инструктор. — Жизнь сложна. Очень сложна. И нужен иногда... И милиции нужен человек, знающий тот или иной язык. И вообще знающий обычаи, быт, характеры. Особенно на следствии это важно...

— Отдашь сына? — Ханси разозлился на этого парнишку, который, наверное, и сам забыл, где его мать, где отец. А про свою бабу так и совсем-совсем не помнит. — Отдашь?

Инструктор, отклонившись к спинке стула, развел руками. “Сделать, мол, ничего не могу. Да и вряд ли стану что-нибудь делать, поддерживая несправедливое”. Ханси понял его. И поднялся. Ему стыдно было за вчерашнюю слабость и за то, что сюда пришел. И что вообще при первой встрече не плюнул в лицо Ламдо, не сказал ему “собачий сын”, а теперь уже сделать этого не сможет. Поднялся он и, сутулясь, будто втягивая голову поглубже в меха спасительной малицы — сейчас-то на нем был обычный костюм, — вышел неторопливо. Шел к дому, где лежал его дорожный мешок с бакарями, совсем не опасаясь машин. Они на него гудели недовольно, но объезжали.

\*\*\*

Отец поцеловал его. Отец сидел уже на нарте, и в правой руке его, возносясь над оленьими крупами, был тонкий

длинный хорей, но левая оставалась свободной. И этой свободной рукой отец обнял Ламдо, привлек к себе. И мальчик — да, мальчик еще, было это классе в третьем или четвертом, — стоял рядом с нартой, лицо его было на уровне отцовского лица. Отец поцеловал его. И Ламдо с удивлением, тогда мимолетным и, кажется, навсегда забывшимся, почувствовал: ресницы отцовских глаз влажные.

— Приезжай, — сказал отец, и Ламдо удивился, зачем отец говорит это: на каникулы, которые скоро наступят, он обязательно приедет домой. — Приезжай. Аракет обещают выдать. Постреляешь...

“Аракет? — Ламдо уже был наслышан об этой чудесной штуке, которую каждый, кто держал ее в руке, мог повесить в небе свет, яркий, как летнее солнышко, необыкновенный и разноцветный, как северное сияние. — Аракет?”

В тот год ракетниц так и не получили. И потом совсем забылась вот эта короткая минута, когда отец, приехавший в школу проводить сынишку, попросил его не забывать родных мест. И, напоминая о них, обещал не что-то привычное, давнее, любимое, но совсем иное, новое, такое, что и здесь, в северном поселке, где был интернат, увидеть они не смогли...

Почему это вспомнилось сейчас, Ламдо понять не мог. Он шел искать своего отца, исчезнувшего из квартиры, по видимому, еще днем. Потому что, когда Ламдо после учебных занятий, захватив, как обычно, ужин из столовой, пришел туда, в квартире не было ни отца, ни его дорожных вещей, не пахло дымом его трубки. Где же он мог быть? Скорее всего он в аэропорту или на пристани. А может, уже сел на попутный катер и теперь далеко-далеко...

Нгэлирей... Олени. Олени. Олени. Их волнующее, заполняющее, кажется, всю тундру стадо серо колышется, как колышется теперь перед глазами серо-свинцовая хлябь Енисея, полускрытого хмурым непогодным сумраком. Только вместо тяжкого гула, с которым здесь накачиваются волны на берег, там слышится звон тонкой кости — рога задевают рога. И звон этот вечен, как вечен простор нескончаемой тундры. И сквозь этот звон, воздушно-трепетный, прорывается звук еще более высокий, похожий на сердечное биение, на ток крови, идущей легкими толчками по жилам, — постук оленьих копыт.

Олени. Олени... Свист полоза по морозно-крупитчатому снегу и миг, когда уже и свист исчез, и само скольжение настолько бестелесно, что кажется, будто между полозьями и заснеженной землей — воздушная речка. И хлещется эта речка морозом, колким, льдисто острым, в щеки, в малицу, туго обжимает вокруг тела и ищет в меховых одеждах хотя бы маленькую шелку, чтобы разбойным комаром припасть, ожечь. И песня...

Олени. Аркан в руке. Петля вокруг рогов Тайсэра. И кто — кого! Лицом в сугроб? В копаницу? Морозно-жесткий ягель, березовые ветки скребницей голика — от лба до подбородка. За капюшоном — сугроб. Глаза залипли. В ушах полно. И рот забит. Но — кто кого! Любкой ценой!.. Какой пастух!..

Отец сидел возле бачка с питьевой водой. Его мешок с бакарями мостился на другом конце пустой лавки, как будто бы принадлежал совсем не ему. В зале ожидания речного вокзала, кроме него, никого не было. Ламдо подошел и сел на скамейку между отцом и мешком с бакарями. Ханси не поднял головы, не разогнул горбившейся спины. Как сидел, уставив взгляд в ведро, стоявшее под краником бач-

ка с питьевой водой — из краника в ведро монотонно капало, — так и остался сидеть. Ламдо, положив руки на колени и выпрямив туловище — как будто сидел на военных занятиях, — застыл неподвижно. Что можно было сказать?.. Ничего...

Пришел вдруг Никита. Без шума и всяких слов сел на скамейку напротив. Посидел тоже неподвижно и молча. Потом сказал:

— Немногословные. Сдержанные. Конечно, сдержанные. Но скандалите. Как обычные люди. Обычного всякого народа. Обычный народ. Отец, — сказал он Ханси, беря его мешок под мышку, — рейсовый утром. Что здесь всю ночь сидеть? Неприлично. Все-таки Ламдо здесь непростой, заметный человек. И вообще, зачем обижать друг друга?

Они вышли на улицу — Никита с мешком под мышкой, за ним молчаливый, печальный Ханси, чуть позади сутулящийся и тоже безмолвный Ламдо.

Ламдо в эту ночь дежурил, и идти на квартиру — а это далеко от пристани — не было смысла. Ламдо взял отца с собой.

Маленький домик чуть в глубине двора. Зарешеченные окна. Ханси удивили комнаты, заставленные железными койками, на которых постели под белыми простынями. И тут же, при входе, барьерчик, как в той милиции, куда он пришел, разыскивая Ламдо, и где его встретил молодой горячий милиционер. Там, в милиции, правда, не было решетки на окнах. Не понравилась эта решетка Ханси, и он, нарушив молчание, спросил Ламдо, усевшегося по-хозяйски за барьерчиком.

— Тюрьма?

— Тюрьма, тюрьма, — усмехнулся Ламдо. — На одну ночку.

— Хы... тюрьма...

— Выт-рез-ви-тель это, папа...

“Попал-таки, — покачал головой Ханси. — Попал. Как правильно говорил этот инструктор, который в окружком вместо Рослякова был. Как верно он вперед смотрел. Не зря большое место занимает — умный человек”.

— Спать на полу буду. Хватит. От мягкой кровати бока болят.

Ламдо засомневался.

— На полу? — рассуждал он вслух. — Нарушение внутреннего распорядка. Даже самым бесчувственным и то полагается кровать. Но поскольку ты здесь не в обязательном порядке, в гостях, наверное, можно и на полу...

Среди ночи Ханси проснулся. Из пустой комнаты, где он спал между коек, хорошо слышалось, как Ламдо и еще кто-то, кажется, Никита, разговаривали возле барьерчика.

— Вот упек себя. Вот упек! — говорил этот, кажется, Никита. — До свинского обличья довел. Завтра на свет белый смотреть будет стыдно.

— Пацанва, — это говорит еще кто-то. — Наверное, первый раз. Неумеючи. И с копыт долой...

— Бормочет что-то. Про любовь, кажется. От любви страдает. Ламдо, ну-ка прислушайся. Кажется, земляк твой.

Стало тихо, как в ночной тундре, когда стадо чуть поодаль и ветер не шумит.

— Нет. Не понимаю. Не нашенький, — это говорит Ламдо.

— Ни паспорта, ни какой другой бумажки. Из долган?! Нганасан? Эвенк? Может, энец...

— Э! — сказал, кажется, Никита. — Да это всего скорей из туристов. Студенты из Тувы.

— Тувинцы сегодня в Игарку отбыли.

“О! — думал Ханси, вслушиваясь в разговор, доносившийся от барьерчика, за которым с важным видом, конечно, сидел Ламдо. — О, сколько же милиционеров надо иметь, чтобы понимать тут каждого? Сколько разных милиционеров надо...”

И впервые Ханси подумалось, что, может быть, и напрасно шумит он на своего Ламдо. Человек при деле. Не всем же оленей пасти. Сколько же таких, выучившихся, уехало от родных чумов и не вернулось! Сколько их!..

Ко времени, когда должен был отчаливать рейсовый “Омик” на Бегичево, пришел на дебаркадер Никита. Усталый, невыспавшийся — всю ночь свое стадо пас, как и Ламдо. Однако, как всегда, шумливый, веселый.

— Отец, мы к тебе в отпуск нагрянем. К чертям море, пальмы, солнце!..

— Солнца в тундре сколько душе угодно, — Ханси был настроен миролюбиво. — Отпуск в тундре — очень хорошо!

Ему трудно было рассказать, но всегда он удивлялся, когда слышал, как люди тундры, из тех же экспедиций, которые возле стад то и дело объявляются, рвутся куда-то к Черному морю, чтобы на каком-то песке полежать. Лучше отпуска, чем в тундре, нету. Сел на нарту, поехал в соседнее стадо. Там дочь Вакки, ветеринар Вера, муж ее Александр Яр, встретят, оленя забудут в честь земляка. Для этого случая Вакки не пожалеет оленка из личного стада. Праздник, радость для всех будет. Можно в другой район. Там — друг. Вместе грамоты получали. Он в гости приезжал — оленя ему дарил. Теперь приезжай — он подарит. С Таймыра до Ямала далеко ли? Хороших оленей запрягать только надо. И тут вот, в Потапово, друг — три кочевки. Аркан дарил. Ему хорей самый лучший отвезти нужно. Отпуск большой — дорога большая. Гуляй себе. Не пропадешь. Везде люди. Везде ягель. Устали олени — распрягай. Покорми. Пурга налетела — куропачий чум, ямку в снегу устрой. Зачем юг? Солнце зачем? Тут своего солнца — глаза очками, мехом не прикрыты, без глаз остался. Черными все хотят быть. Зачем черными? Белый олень — самый красивый. Священный олень. Чем белей человек, тем красивее.

— В тундре отпуск очень хорошо.

— Вот приедем, отец. — Никита опять обхватил, обнял. “Омик”-то уже гудок подает. — Приедем. Любой ценой!

Ламдо в смущении. Не знает, руку ли просто подать? Обняться ли с отцом на прощанье? Ханси хлопнул его по плечу:

— Дурной сын у меня. Ну и живи своим умом! — И улыбнулся.

Ламдо тогда обнял его. И долго не отпускал — как будто бы и за встречу, когда тепло отцовской груди не почувствовал, обнимал, и за расставание. Чувствовал Ламдо щекою, что ресницы отцовских глаз влажные. И его собственные глаза замутились: пелена какая-то на них, и все плохо через эту пелену видится.

\*\*\*

Почему-то казалось иногда: Инна должна вернуться. Потому, хотя и упаковывал мебель, но не отправлял, ждал

чего-то, надеялся. Любил бывать в аэропорту: вдруг в толпе, идущей от прилетевшего самолета, увидит ее, возле — Олег, которого она держит за руку. На пристани, когда подчаливал теплоход из Красноярска, вглядывался в нарядную толчею на белых палубах, и где-то далеко, смутно жила, теплилась надежда: “А вдруг?..” Любил и потому бывать на пристани, что тут еще как бы пахло отцовскими запахами: курит кто-то, а будто все еще отец в ожидании “Омика”, задержавшегося с посадкой, затягивается трубочкой. Вода охолодит свежестью — будто привет от отца из далекого далека, из Бегичева, из тундры, пропитанной водой стаявших снегов.

Завернул к речному вокзалу. Но прежде, стоя на улице, вглядывался в разлив Енисея, уносившего воды туда, туда. Олени... Олени... Открыл двери в зал ожидания. Открыл двери и... замер на пороге. По ушам ударил знакомый клеткот. Слова как будто чуть-чуть задерживаются в горле и выпрыгивают на волю приглушенно-гортанными. И смех, что вместе со словами, мягкий, теплый, как только что выделанный камус. И в смехе, и в словах, что вместе с ними, — весна. Цветущий тундровый простор, заполненный покликотом прилетевшей птицы, волнуящим призывом куропадок. Звенящая синева безоблачного неба и солнце, несусветно-необъятное солнце. Вера?.. Она одна смеялась так. Смеялась. Когда-то. Недавно Ламдо видел Веру. Приезжала вместе с мужем, наверное, что-то купить детям. Пятеро детей. Заботы. Три стада. У мужа одно. А у нее, ветеринара, три. Сухонькая. Быстрая. И больше схожая с бабкой Марфой, чем с той неторопливой, дородной, казавшейся очень высокой, девушкой, в которую Ламдо был по-мальчишески беззаветно влюблен. Надя?.. Но она хотя и похожа на Веру смеялась и говорила, а все же не как Вера. Немножечко не так. И может, потому, когда узнал, что увез-таки ее Славка Тэсьда, почувствовал в груди своей камушек грусти, но более ничего не почувствовал.

Тихо, как будто крался, Ламдо подошел к двум девушкам, сидевшим спиной к дверям, говорившим между собой и смеявшимся. Подошел, взглянул в лица и опять, пораженный, застыл, чуть приподнявшись на носках своих скрипевших при обычном, на всю ступню, шаге сапог. Вера?! Да, это та, та, далекая, в какую он по-мальчишески беззаботно был влюблен. Вера!.. Она!..

А она тоже поднялась. Забыла разом подружку и все, над чем с подругой только что смеялась. Шагнула навстречу. Смотрела глазами округло-большими, влажными. Тумбэ! Как милая ручная Тумбэ, ждущая подарка из рукава мальчишеской малицы.

— Сэрне!

— Дядь...

Хотела сказать, видимо, “дядя Ламдо”. И смутилась, заалела. Сказала чуть слышно, дрожащими губами:

— Ламдо?

Она уже закончила медучилище в Туре. Эта маленькая, еще, кажется, совсем недавно учившаяся ходить, державшаяся за подол парк, Сэрне. Эта девочка, всегда глядевшая на Ламдо восторженными и чего-то ждущими глазами, потухавшими лишь тогда, когда, отмахнувшись, он прикрикивал: “Чего ты на меня уставилась, как важенька, когда хлеб выпрашивает!” Сэрне, младшая из дочерей соседа Ваккы. Сэрне. Цветущая июльская тундра...

“Омик” на Бегичево пойдет лишь завтра утром. Зачем же здесь, в пустом, холодном зале сидеть почти целые сут-

ки? Да и из Туруханска, где девушки, должно быть, сели на теплоход, ехали вчерашние студентки, конечно, не первым классом...

— Пойдемте ко мне, — пригласил Ламдо Сэрне и ее подружку. — Отдохнете. Поспите. Утром я вас подниму и провожу до пристани.

Сэрне развеселилась, когда шли от пристани. Она, кажется, сразу уловила, что Ламдо, увидев ее, смутился и все еще никак не придет в себя. Женской душой, пусть душа была еще юна и светла, как день начинающегося северного лета, она сразу почувствовала все те преимущества, какими одаривает природа девочку, девушку, женщину перед мальчишкой, юношей, мужчиной, равнодушным к ней. Она это уловила и была весела, приподнято радостна.

Но, войдя в квартиру, сразу погрузилась. Смотрела на портрет белокурой женщины, одиноко висевший на стене. На мебель, упакованную, увязанную, сложенную в глубине большой комнаты.

— Не надо, наверное, эту кровать распаковывать, — сказала она тихо, пытаясь остановить Ламдо, высвобождавшего из-под газет и оберточной бумаги пружинный матрас. — Не надо. Мы — на вокзале.

— Нет, нет, — сказал Ламдо решительно. — Нет. На этом матрасе и отец спал. — Засмеялся. — Ох и жаловался! Говорит: “Мягкий. Бока болят”. Это, конечно, все чужое. Завтра я отправляю. А сегодня отдохните.

Он не мог ей сказать, что вот там, на подоконнике, лежит распечатанный конверт. В нем маленькая неслышная бумажка. Но он-то слышит ее каждый день, каждый час. Где бы он ни был, чем бы ни занимался.

“Дорогой Ламдо. В Дудинку я никогда не вернусь. Олег любит своего отца. И отец тоже любит Олега. Я простила... Прости и ты меня и ни в чем не вини. Человек с таким добрым сердцем, как твое, все равно будет счастлив. Прости. Инна”.

Он снял портрет женщины, одиноко висевший на голых стенах, завернул его бережно в газету. Положил сверху на штабель мебели.

— Все, завтра отправляю... Чайку сейчас попьем. Выспитесь. На “Омике” не больно разоспишься. Я же вижу, у вас глаза слипаются...

Подружка, действительно, напилась чаю, улеглась и... Про такое русские говорят: “Без задних ног!” Спала, с боку на бок не перевернулась. А Ламдо и Сэрне сидели на кухне. Говорили тихо. Кажется, говорила лишь Сэрне. А Ламдо смотрел на нее, освещенную притуманенным светом белой ночи... Цветущая июльская тундра.

\*\*\*

— Никита, кончай дрыхнуть! — Ламдо будил друга, выкрикивая те самые слова, какими друг, зачастую безжалостно и немилосердно, разрушал самые сладкие минуты утреннего сна. — Происшествие! Новость! Сенсация! А он дрыхнет! Нет, ты почитай! — и с хрустом распахнул в полный разворот газету “Советский Таймыр” — Почитай!

— Что, опять кто-то в космос полетел? — спросил Никита, не открывая глаз и ни единым движением не свидетельствуя, что проснулся. — Кто? Откуда родом?..

— Нет, ты почитай! Почитай! Почти вся газета! — Ламдо, не расстегивая шинели, сбросив лишь фуражку на свою койку, сел рядом, встряхнул опять шелестевший в руках бу-

мажный лист — "К предстоящему съезду оленеводов Таймыра!"

— Ну ты и даешь! — Никита открыл только один глаз, тот что поближе к Ламдо. — Я думал — происшествие. Задержан опасный преступник. Скромный подвиг нашего брата милиционера. А он — съезд оленеводов!..

Ламдо, не обращая внимания на ворчание Никиты, принялся вслух перечитывать:

— Вячеслав Тэсьда, знатный оленевод!.. Ты понимаешь, это же Славка! Тот самый Славка, помнишь, я тебе рассказывал...

— Ну, ну, там еще какая-то дивная фея, порхавшая между вами.

— А ты не того! Даже с закрытыми глазами. Пи сармы. А то вот я тебя валенком из-под койки... Это была любовь. И я влюблен... И он. А Надька — одна...

— Да!.. Неразрешимая трагедия всех времен и народов: их — двое, она — одна...

— Слушай, что пишет. Это не он, Славка, пишет. Он как бы корреспонденту говорит, интервью дает. "Бытовое кочевание — анархо... — запнулся и повторил его по слогам: — "А-нах-ро-низм". Понял, как пишет Славка Тэсьда. А мы с ним чурки кололи. На куропатках состязались. Кружок у нас был. Охотники юные. Кто больше...

— На куропатках и я бы посостязался. Вы бы вдвоем с Тэсьдой, а я — один. Пусть бы поставили перед нами целое блюдо жареных и вареных, — Никита мечтательно, мягко хрустнул суставами.

— Ну, пи сармы! — Ламдо заглянул под койку. — Хорошо, что валенки на склад сдали, а то я бы тебя сейчас! Слушай, что говорит Вячеслав Тэсьда. "Промежуточная база, отстоящая от центральной усадьбы..."

— А-нах-ро-низм! — вскричал Никита и, зная, что Ламдо сейчас действительно не валенком, так хотя бы своей подушкой пройдет по нему, вскочил, схватил полотенце и в одних трусах побежал умываться.

В фойе Дома культуры — толчея, разговоры. Ламдо, перешагнув порог, вдруг как-то оробел, застеснялся. Подумал, что зря не послушался Никиту, не переоделся в обычный костюм, а, боясь опоздать к открытию съезда, пошел в форме. Теперь сразу почувствовал неловкость.

— Милица пришла! Милица!

Навстречу Ламдо спешил Александр Яр, бригадир третьего стада, победивший Ханси. Молодой еще — он одних лет со своей женой Верой, — Александр тем не менее выглядел солидно и деловито. Будто директор совхоза.

— Наша милиция! — полуобнял он Ламдо, похлопал его по плечам, по спине. — Ани торова! Ани торова! — здоровался по-ненецки. — Мать тебя обнимать велела. Ждет не дожидется тебя мать. Бедная Марфа к верхним людям ушла. Тихо ушла. Спокойно. Говорила, знаю, Ламдо ко мне навещается. Приедешь, не забудь навещать могилку. Сестренки привет шлют. Одна продавцом в Бегичево. Другая — матери помогает. Жених уже есть — на свадьбу не опоздай. Брат Петр кочует. Песцов добывает. Отец жалуется: чужой человек совсем. Чужой. Тебя обнимать отец велел, — и опять полуобнял Ламдо. — И ругать, ругать, ругать... Ругать не буду, — Александр махнул рукой, — сам переживай. Как хочешь, так и переживай.

Подожла жена его, Вера. Нарядно одетая, длинное платье — сразу и не поймешь, тундрового больше или такого, что по телевизору показывают: меховые песцовые ото-

рочки, шея открытая. Посмотрела очень пристально, как, наверное, смотрела однажды: Тайсэра тогда поймал. Достала из сумочки письмо. Медленно подавала, будто сама его написала. И сейчас волновалась, передавая его. И не то шутила, не то очень серьезно — ни усмешки, ни улыбки в голосе, только чуть-чуть сердитости, таким голосом учительница Клавдия Ивановна выговор делала, — сказала:

— Ну-ка, возьми. Я ей хорошего жениха подыскала. Стоящий парень. Не ветровой. А она непутевому письма пишет. Смотри, непутевый. Еще раз ни с чем останешься.

Тут зазвенел звонок оглушительно. Александр Яр потащил Ламдо в зал. Свободные места оказались только в самом последнем ряду.

Ламдо хотелось встать, выйти в фойе, теперь пустое, и уткнуться лицом в письмо. Цветущая тундра... Июльская тундра. Запахи истаивающего вконец снега и прозрачной снеговой воды, напиться которой прилетают из жарких стран птицы, и прель подсыхающих мхов, и ядреность вечнозеленых ягодников — все ударило, ошеломило Ламдо, как только Вера протянула конверт! Уткнуться и стоять неподвижно. Стоять... Знал, почти знал он, что в письме шаловливой, насмешливой, самой лучшей из всех на свете Сэрне. Очень хотелось встать и выйти. Но Ламдо только держал руку в кармане, рядом с письмом, и слушал. Даже заволновался, когда объявили выступление Тэсьды.

Славка высоченным показался, длиннющим. Возвышался над трибуной, кажется, от пояса. Ламдо все хотелось услышать, когда Славка примется говорить так же здорово и складно, как говорил он корреспонденту газеты. "А-нах-ро-низм!" Но Тэсьда, видать, был по-прежнему более ловок с арканом, с хореем. Наверное, как и прежде, удачливо ловил куропаток. Читал же он — по бумажке выступал, — запинаясь, коверкал слова. Кажется, читал не свое сочинение.

Во время перерыва Славку увидеть не удалось — он улизнул от встречи, затаился, как песец в норе.

Но вечером Ламдо с ним встретился, когда пришел в гостилицу к Александру Яру — тот велел прийти за подарками от родных. Вера и Александр подарков не отдали — потом, говорят, — и потащили Ламдо ужинать. Славка сидел за столом. Не такой уж длиннющий, как показалось, ровень с другими. Рубашка расстегнута — ворот нараспашку. Скулы на черном, обветренном, загорелом лице выступают костисто, подпирают глаза, недобро нахмуренные. Настороженно следил Славка за медленно приближающимся Ламдо. Недобро... И Ламдо вдруг увидел в глазах его то же самое выражение, которое он чувствовал в своих глазах, и, чувствуя, не мог с ним справиться...

— Пи сармы! — сказал Ламдо, разводя руки в стороны, как будто говорил: "Ну, посмотри, в них у меня ничего нет!" — Славка!

— Ламдо! — Тэсьда выскочил из-за стола и бросился обниматься. — Дружище!.. Ты такой важный в своей форме. Я думал, ты меня пришел забрать.

Смеялись оба. И все, кто был тут, смеялись.

За одним столиком не умещались. Сдвинули два, потом подставили третий.

— А у меня кое-что есть с собой, — объявил Тэсьда. Зашелестел под столом газетами, целлофаном — разворачивал. Вытащил мерзлую оленью печенку. — Если потихонечку, незаметно, может, не выгонят?

— Постой, — сказал Ламдо. — Постой. — И, сходя на кухню, принес две широкие плоские тарелки и дощечку. — Давай культурно!

На Ламдо все посмотрели почтительно.

— Александр Васильевич! Дорогой Александр Васильевич! — поднялся вдруг из-за стола сидевший напротив Ламдо Александр Яр. — Приглашаем. Не можете ли на минуту к оленеводам? У нас — видите! — показал на тарелку, в которую Славка усердно строгал тонкие, круто завивавшиеся стружки.

— О, — сказал за спиной Ламдо Росляков. — Да у вас действительно строганина! Ну, молодцы. Тогда подвиньтесь. Вот рядом с товарищем Яптунэ я и присяду. Если вдруг поведу себя не как следует, тут и милиция как раз...

Все засмеялись. А Ламдо не смеялся. Только лишь Александр Яр заговорил, поднявшись: “Александр Васильевич!” — Ламдо как окаменел. “Какой же черт, — подумал он по-русски (иногда он думал на русском языке, но чаще все же на своем), — дернул меня сюда прийти? Будет теперь разговоров. Старший лейтенант еще выговор закатит...”

Ламдо сидел выпрямившись, опустив руки вниз. Сжатые кулаки — будто Ламдо не сидел, а стоял в строю — свисали ниже стула.

— Только я, братцы, так просто строганину не смогу. Желудок не возьмет. Не знаю, как вы, но я... — И Росляков повернулся к буфетнице.

За сдвинутыми столами скоро стало весело, разговоры шли все те же, что и утром.

— Все-таки ваш опыт, — говорил Росляков Славке Тэсьде, — когда вы бытовому кочеванию подрубили корни, перевели его в сугубо производственное, гораздо интереснее и многоцветнее, чем вы сегодня представили. Но тут, наверное, моя ошибка. Я вашему Петру Ивановичу позвонил накануне съезда оленеводов, сказал: “Помогите вашему товарищу как можно полнее, шире сказать о накопленном опыте”. Они, кажется, перестарались. Вас слишком начинили цифрами, в выступлении какие-то заумные, казенные слова, из газет. Я просто руками разводил...

— Не видели. Не видели, Александр Васильевич, — засмеялась Вера.

Она вела себя особенно просто, как будто бы всю жизнь только и делала, что в совещаниях участвовала, сидела с окружкомовскими руководителями вот так, запросто, в веселых компаниях.

— А я под столом. Вам-то было не видно. А я под столом. Ну просто разводил руками.

— Я с ними воевал, — сказал Тэсьда. — Говорил Петру Ивановичу: своими словами расскажу, школу кончил, армию отслужил. “Нет, — сказал Петр Иванович. — Нас сам товарищ Росляков предупредил! Нужно, чтоб ни сучка, ни задоринки. Сплошные цифры. Казенные слова. Неинтересно было слушать. Хоть плачь...”

Все смеялись. Торопились со строганиной — в тепле она быстро оттаивала. Александр Васильевич повернулся к Ламдо. Говорил тихо, чтобы не привлекать внимания других.

— Мне передавали, что отец ваш этим летом приезжал. Заходил в окружком. А я как раз в ваших местах был в командировке. Сыном, как рассказывал инструктор, он доволен. Которым это сыном? Вами?

— Мной, — кивнул Ламдо. — Хочет, чтобы я возвращался в тундру, к оленям.

— Возвращался... — сказал Росляков задумчиво.

Он был действительно похож на Никиту Попова, друга Ламдо. Такой же высокий. Грудь вперед. Волосы не очень русые, с темноватинкой. И лицо, не скажешь, что белое. Запутанного много в лице: глаза голубые, но все же есть неправильность в их разрезе, потому, когда смеется, узко щурится. Продолговатое лицо. Нос высокий. Но, опять же, скулы тоже выдаются. Сибиряк он, с Енисея. Где-то чуть выше Игарки родные места его.

— Возвращался... — повторил он в задумчивости. — Но вы же на родной земле. И вас уж, например, не укоришь: уехал учиться, уехал служить да и не вернулся. Родная земля. Своя. Сел на теплоход, пять часов и — Бегичево.

— Конечно, — сказал Ламдо. — Конечно.

Но в чем-то засомневался, потому что слышал и чувствовал сомнение, звучащее в голосе и словах Рослякова.

— С другой стороны, Тэсьда правильно сказал сегодня: сами не будем жизнь переделывать в тундре — никто ее нам не переделает. Можно домов настроить. Технику дать. Между прочим, хорошие новые рации сейчас поступили: “Гроза”. В Бегичево, в совхоз “Октябрьский”, первую партию даем. Пусть опробуют. Но специалистов там раз, два — обчелся. Я слышал, тут у вас кружок радиодола?..

— Ходил. Ходил. Боксом занимался. В Доме физкультуры. А для души еще в радисты записался, в комитете ДО-СААФ. Отец мой, старой жизни человек, приговаривал: “Будешь много уметь — с голоду не умрешь”.

Посмеялись оба негромко, не нарушая веселого застолья, не вторгаясь в него.

— Вот сейчас балки новые пропагандируем. Из современного легкого материала. Просторные, теплые жилища. Чум-то ведь собирать, разбирать при перекочевке надо. Балок всегда в собранном виде. Есть преимущества перед чумом? Поди, убедилась? Но ваши балочки, что сами мастере, — это же коробочки? Так, нет?

— Так. Тесные: повернуться негде.

— Можно стойбища, где теперь чумы стоят, превратить, скажем, в лагерь, похожий на современный передвижной лагерь геологов. Чтобы и движок — электросвет, и банька там была. То есть самые необходимые удобства. Или, — Росляков склонился к Ламдо, как будто вступая с ним в некий сговор, — вот в тех самых местах, где кочует мой друг Ханси, остались от геологов старые вагончики, домики. Ненужные никому. Полуразрушенные. Я в Бегичево под-сказывал: попробуйте организовать там промежуточную базу. Самый малый ремонт. И что там можно развернуть? Клубное помещение, куда настоящая, хорошая агитбригада может приехать, где кино можно показать, лекцию читать. Банька. Теперь же подавай баньку! Там — пожалуйста. Библиотека. Медпункт. Магазины с самым необходимым. На собрания, праздники будут люди съезжаться. И женщины, и дети, даже старики приедут. Там же, на промежуточной базе, заготпункт надо организовать. Забойную площадку.

— А правда это, что скоро все оленеводы будут переведены на оседлость? В домах, в поселках будут жить, только пастухи будут кочевать?

— Правда. Женщины и дети в поселке. Хорошие дома им выстроили. Женщины на производстве трудятся, шьют, выделывают шкуры, орнаменты вырезают, дети в яслях, садах. Пастухи кочуют, оленей выращивают.

— А как же бакари, малицы?



— Хэ, с каждой бригадой кочует чумработница, кухарничает, бакари, малицы ремонтирует, сушит. Хозяйка. Одна женщина.

— Нет, наши так не захотят. Я знаю. Ну как пастух без жены будет кочевать?

— Я еще об одном не сказал, — продолжал Росляков. — Выпас оленей, когда пастушеская бригада посменно работает, две недели в тундре, а две недели в поселке, себя оправдал. В Якутии давно так работают. А мы что, хуже? Пока не привилось, не понимают смысла этого нужного дела. Работы много предстоит. Труд людей необходимо организовать, отдых и быт особенно. И в тундровых бригадах, и в совхозных поселках. Но сейчас наша ближайшая задача — промежуточная база.

Ламдо заворожено слушает, ловит каждое слово и, кажется, уже размечтался. Нгэлирей. Потом как бы спохватился, опомнился и сказал:

— Да, до Бегичево из тундры далекий путь. Одно мучение.

— Знаю. До центральной усадьбы совхоза двое суток ехать надо, с ночевкой в пути. Туда двое суток. Обратное двое. Да и в поселке день-два надо побыть, все дела уладить. Предлагал ликвидировать эти кочевки. Приблизить все бегичевское к стадам. Соглашаются. А далее дело не идет. Ханси так рукой машет: как предки кочевали, так и мы не помрем... Сами жизнь свою люди могут переделывать. Только сами... А хороший человек везде нужен. Он везде при деле, никуда не сбежал. Земля-то всюду, от границы до границы, от северного моря до южной пустыни — вся наша.

— А если я попрошусь, — вдруг сказал Ламдо, — если заявление напишу, меня не будут корить: дезертир, скажут. Одевали, скажут. Учили. Зарплата. Общежитие отличное. Комнату скоро хотели дать. А он дезертирует...

— Хороший человек везде нужен. Без разговора, конечно, не обойдется. К нам жаловаться придут...

— А вы?

— А я... разве ду руками...

\*\*\*

С утра мело. Но не сильно. Снежные языки вставали на уровне плеч человека. А выше синело холодное ноябрьское небо. Оленей не было видно. Только лес рогов покачивался чуть в стороне от чумов.

Апойне согрела чай. Поставила маленький низенький столик перед Ханси, вошедшим с мороза и усевшимся на шкуру. Нарезала хлеба. Выложила на столик непочатую пачку сахара. От твердого, как ледышка, куска масла настрогоала целое блюдце. Чай засыпала в чашки: Ханси, себе, дочери. Залила кипятком. Стала пить. Дочь тоже. Чашка Ханси перестала парить. Апойне сказала:

— Пил бы. А то остынет.

Ханси вскипел.

— Ребенок что ли! Чего учат!

Апойне промолчала. Дочь тоже не вмешивалась. Ханси, как вернулся летом из Дудинки, куда ездил "обломать хорей о бока собачьего сына", часто бывает беспричинно сердит. Иногда у жены с дочерью тоже терпение кончается. Они начинают шуметь — Ханси снижает. А чаше — вот так, он вдруг зашумит, они смолчат...

— Алто сегодня что-то беспокоится.

— Тоже — баба, — Ханси взял чашку. И тут же опять поставил, как костер от бересты, шумливым огнем зашелся: — Что я, с мороза горячего чаю попить не могу! Что ты мне, как ребенку, наливаешь чуть тепленький?

Апойне вылила из чашки, снова насыпала ему индийский чай, заварку, залила кипятком.

Дочь сказала:

— Алто, как наша покойная бабушка, видит плохо, а слышит хорошо. Она что-то слышит.

Апойне посмотрела на собаку, подошедшую к выходу из чума и севшую мордой к двери, к полости у входа. Уши большой собаки стояли торчком.

— Все старятся, — сказал Ханси.

Взял было чашку, поднес к губам. Но обжегся, поставил обратно на блюдце, сверкнув глазами, хотел что-то вскричать.

Собака вдруг залаяла. Кинулась под полость, выскочила на улицу. Залилась лаем. Послышалось хорканье усталых оленей, тяжелый скрип полозьев.

— Однако кто-то приехал.

Ханси, за ним Апойне и дочь вышли из чума. В снежной метелице, гулявшей понизу на уровне плеч человека, виделось что-то большое, новое. Балок не балок и... меньше дома. И не вагончик, которыми геологи устави́ли тундру. Шесть оленей-быков впряжены. Могучие быки, но устали — дорога длинная была, груз тяжелый.

Рассматривая смутно видневшийся в поземке новый, красивый балок-дом, покрытый не оленьими шкурами, а сделанный из чего-то твердого, цветного, Ханси, Апойне, дочка ихняя внимания не обратили, что Алто перестала лаять. Увидели уже, что прыгает она, ластится к человеку, идущему от нового чума-дома сюда, к ним.

Кто бы это мог быть? Весь в снегу, в незнакомой одежде. На ходу касаясь рукой головы Алто, человек этот, поглаживая собаку, будто говорит: "Погоди, погоди, не до тебя пока. Не до тебя". Идет сюда. Идет неторопливо, все яснее и яснее выступая из снежной пелены.

Дошел, остановился и сказал:

— Ну вот и я. Вернулся.

1980 год.

## Николай САХНО

Родился в 1940 году. По профессии — строитель.

Печатался в сборнике "Гнездовые выюг".

### БАЙКИ ДЕДА СЕМЕНА

*Мужик серый,  
кафтан рослый,  
на босу ногу топоры,  
лапти за поясом,  
под носом румянец,  
а во всю щеку — что в носу.  
Прибаутка.*

— А что сказывать-то? Уж сказано-пересказано, бог ты мой. Спрашивайте, отвечу. Как родился я? Да как любой и каждый. Где родился? В селе, в закутье. Село красивое было. На берегу самого Днепра-батюшки. Село как село. Вот только название запомнил. Не то Треххатки, не то Пятихатки. Каков родился, таков и есть: сверху не закрасишь. Сколь помню себя, столь сопли мыкаю. С малолетства попал в подпаски.

Часто, набегавшись, мы, уличная безотцовская шпана, только и переводили дух в котельной деда Семена.

Странный был дед. Одинокий, неухоженный, как и его котельная, он тем не менее слыл в нашем районе этаким разудалым малым по веселой части. Откуда пришел он, чем занимался раньше, ответить никто не мог, кроме него самого. Сам же он не раскрывался и все сводил к шутке-прибаутке. Поди узнай правду. Нам, ребятам, казалось, что дед был таким всегда. Он застыл в глазах вечно сидящим у ржавого водогрейного котла американской марки, свесивши с остро заточенных коленей руки, узловатые, похожие на венники-голики.

Невзрачный, худенький, мосластый, он был великим мастером по словоблудной части. Не в обиду, как говорится, ему сказано. Вот кто умел закручивать.

"Не для чего иного, прочего другого, а для единого единства и дружного компанства", — любил повторять дед. Поди разбери, что он там наговорил. Что крылось за этими словами, мы не знали. Да и зачем нам, детворе, было знать?

Бабы, озлобленные на все и вся из-за войны, что шла в ту пору, из-за раннего вдовства, частенько не без злобы отсылали в его адрес совсем нелестные слова.

— Дед-пустомеля. Не надоест ему, старому хрену, язык чесать о котельный забор. Хотя каков с языка спрос, когда он без костей.

А нас хлебом не корми, лишь бы поболтать с дедом. Главное было кинуть затравку, раззадорить его, чтобы заговорил, а там пойдет-поедет.

— Дед, а дед?

Дед молча сидит, глядя в поддувало.

— Дед, а дед? Ну, дед...

— Чего молчишь?

— Что такое подпасок?

— Кто это?

Наконец-то мы растормошили деда. Отряхивая дрему, не спеша, как бы исподволь, он начинает рассказывать новую историю.

— Есть такая должность при пастухе. Подпасок, стало быть.

Дед, сдвинув трех на самые глаза, долго чешет затылок.

— Бывало, пасешь скотину. Ну коровы там, телята, барашки всякие. Лето. Жара несусветная. А ты молодой, бо-сой, задиристый, лежишь под ракитой и слушаешь, как кузнечик бабочке мозги пудрит. Мы, мол, хорошая. Ты, мол, пригожая. Пошли со мной. Выходи за меня замуж и такое прочее. Бывало, задумаешься от таких вот слов, уши развесишь, а то и просто соснешь часок-другой на свою шею. А тут тебе и неприятностей целая куча. Корова — это такая дрянь, я вам скажу, такая тварь, такая пакость. Вот вроде невинно так смотрит на тебя, а в своем уме уже соображение предполагает: "Однако ж, паря, обведу-ка я тебя, такого невзрачного, такого бледненького, вокруг своего копыта. Как дважды два обведу. Вот только отвернешься, вот только прикিমаришь". Вот бестия. И вот она потрава. Корова старается быстро-быстро набить брюхо добротным кормом. Потрава — это когда корова залезла в чужой огород и сожрала все, что там росло съестное. И вот ты, подпасок, берешь ноги в руки и чешешь к огороду, к корове, что сотворила потраву. Нырками норовишь, несешься стремглав, чтоб дед Панас, это пастух, чтоб он не видел, не то шкуру, аки чулок, спустит и на плетень сушить повесит. Так вот по лютой своей злобе, что в тебе накопилась, врежешь той коровенке хлыстом с оттяжкой, а она хвост трубой да как маханет через плетень, либо тын и по самое брюхо в сугробе завязает. Потом вытащи, попробуй вытащи ту корову, откапывать руками не будешь? За лопатой бежать надо. А слепни тут как тут: "У-у-у".

— Дед, а дед? Это корова в какой сугроб?

— В снег что ли?

— Вот это да-а.

— Ты что, дедушка? Откудаво снег?

Дед молчит. Знает старый, что занесло его малость. Знает, но молчит. А средь нас разговоров, смеху...

Наконец, дед встревает в разговор.

— И в сугроб, а что?

— Да как же?

— Поди лето.

— Да ну вас, окаянных. К каждому слову так и цепляешься.

— Ну ты, дед, только подумай, — совсем по-взрослому затевал разговор наш предводитель, переросток Генка. — Подумай только, что на дворе лето. Ну раз коровы что-то жрут, в огороде что-то выросло, растет же летом, а не зимой. Коровы что жрут в огороде? Жрут ботву от картохи. Еще что они жрут?

— Овес, коноплю.

— Какую коноплю, ты чо несешь?

— Да, я видел.

— Иди ты.

— Ну не коноплю, так еще что-нибудь. Огурцы.

— Так, дед, откуда снегу взяться?

— Откуда? А при чем тут снег?

— Ты только что сказал, мол, корова и в сугроб.

— Я сказал это? Да быть того не могло.

— Ну воше-е! — заведенный Генка сплюнул на грязный пол.

- Не говорил я такого.  
 — Говорил. А, пацаны, говорил же?  
 — Говорил!  
 — Говорил!  
 — Говорил!

Тут подымался такой гвалт, такой шум. Каждый старался перекричать другого. Пока суматоха не прекращалась и не наступала тишина, дед Семен, как ни в чем не бывало, желтыми, табачного цвета, пальцами скручивал новую сигарку, долго ее мусолил во рту. Наконец, зажав в зубах, не спеша доставал спичечный коробок, если его не было, — а это было зачастую — кремень и кресало, добывал огонь, прикуривал и делал глубокую затяжку. Едкий дым самосада проникал в нутро и там делал свое дело. Кашель готов был рвать каждую грудь на куски. А ты сидишь, заглядываешь в задымленную глубину дедовского рта, откуда, как из ширковой затемненной сцены, вылетают и летят на тебя сначала маленькие, затем все расширяющиеся и расширяющиеся в диаметре дымовые кольца. Мастерски умел жонглировать ими дед Семен. И кольца были такими ровными, что хотелось ловить их и развешивать по стенам на ржавые гвозди. Покуриив, попуская колечки, дед вдруг снова заговаривал.

— Было это в первую империалистическую. Сложное это слово он выговаривал так, "империстицкую". — Я тогда парубок, — дед продолжал дальше, — парубок что надо, как говорится, кровь с молоком, не помню по какой-токой причине попал на службу армейскую в обоз. Мои однополчане, бывало, зубрят уставы, в строю топают, в траншеях постреливают, врукопашные ходят, деревянными костюмами обзаводятся, а я знай черпаком работай. Что такое деревянный костюм, знаете? Не слышали? Так вот костюм тот готовят для тех, кто сыграл в ящик. Снова не совсем понятно? Костюм тот на убитых в бою напяливают, царствие им небесное. Теперь понятно? Ну слава богу. Экие вы бестолковые. Так вот сначала я будто бы и затужил, вроде бы обида брала за душу, за свою неполноценность что ли. Ну как это, думаю, будто бы мужик не порченный, мужик при всех членах, здоров, как бугай здоров, и вдруг нестроевая. Было запил... А затем... А затем подумал-поразмыслил как следует, пораскинул мозгами, насмотрелся на ура-патриотов и сделал такой вот вывод: стоп, Семен. Не дурак ли ты? От счастья счастье не ищут. Это ли не счастье, что ты жив, здоров, благодарить бога должен, что не на передовую спешишь, а на свиданья к бабенкам. Семен, ведь тебя сам господь бог оберегает.

И развязал мешок со счастьем. Да так развязал, так развернулся, что сослуживцы мои вшивые, орденоносцы да герои говенные уважать меня во как стали, Семеном Ивановичем и никак иначе, прозывать меня стали. Другие, так те в зависть. К примеру, иду я под ручку с Нюркой, была у меня такая приживалка, иду, значит, и в ус не дую. А те, вшивые завистники мои, нам, значит, вдогоночку: "О, наш-то обозный снова с той потаскушкой пошел. Туды его в дышло. Мурло-то нажрал. С десятого похмелья за десять присестов не обделает. Обозная крыса". А мне, понимаешь ли, ни холодно, ни жарко. Мне с Нюркой одна благодать. Нет, обиды все равно на тех и других не держал. Их пожалеть вот некому было. У меня вот была Нюрка, а у тех, особливо тех, что в деревянные костюмы обряжались да отходили в землю сырую, на тех грех великий обижаться. А эти, что еще таскают ноги до передовой, они тож богом обижены. А по

мне хоть горшком называй меня, только в горячую печь не толкай.

Был в то время у меня лошак по кличке Туман. Умный, зараза. Сколькo дорог изъездили, сколькo помесили грязи. И все вместе.

Снюхались мы с ним и, что называется, жили душа в душу. С полуслова понимали друг друга.

Туман, достойный сын своей матери Тамары, кавказской ослицы, и отца Омана, персидского жеребца, хотя и был бестией азиатского происхождения, но русскую речь понимал, причем, понимал лучше другого человека. Как он попал на фронт, за какие проступки, знает один бог, аллах да еще кое-кто. Так вот...

Дед Семен, открыв дверцу поддувала, прошуровал шумовкой еще живую, искрящуюся золу. Закрыв дверцу, не спеша продолжил:

— Однажды, как сейчас помню, снарядили меня в ближайший город за хлебом для войсковой части. Собрались мы и тронулись в путь. Часа через три я был у пекарни, где обычно получал хлеб. И тут случилась осечка. Отступавшая часть австроненгров помешала пекарне выпечь хлеб. Такое бывало. Уж как там было дело поконкретнее, как там выкручивались тыловики, однако замест хлеба предложили мне квашню. Квашня — это замешанное на дрожжах для выпечки хлеба тесто. Погрузил три чана той квашни, накрыл брезентухой, обвязал бечевой — и в обратную дорогу.

— Не-е. Пстой-ка, Туман. Что-то у тебя с подпругой.

Подправил я все как надо.

— Но, Туман. Пошел-пошел. Путь-то дальний.

Проехав степную часть пути, въехал в угрюмый лес. Тихий такой, страшный. И робко, и боязно стало мне. Я, было, запел и оглянулся на воз. Едрит твою корень! Гляжу на воз, глазам своим не верю. Брезент приподняло, квашня прет. Что делать? И я установил такую вот закономерность: чем дальше в лес, тем больше дров. А воз мой растет не по дням, не по часам, а по минутам. А путь еще дальний. Все через лес да сквозь темень.

Остановился в очередной раз, а надо сказать, останавливался очень часто. Не было моих сил. Уж я вязал, уж я перевязывал свой воз. Упрел я, не говоря о Тумане. А тут еще страх трясет коленями. Все-таки, что ни говори, а боязно одному в прифронтовом лесу в военное время. За каждым кустом либо деревом не австрияка, так черта рогатого ожидай встретить. Черт, он, конечно, страшен, этакое рогатое, лохматое, хвостатое страшилище, но гораздо страшнее напороться в лесу на австрияка с оружием. Ведь пристрелит и спрашивай, как Семена звали-величали. Чем черт не шутит — тот австрияк всерьез воспринимает. А из меня вояка, что с Тумана танцор. А плохому танцору всегда что-то мешает. А тут эта, едрит твою корень, квашня эта.

От поминутно растущей усталости Туман еле-еле переставлял ноги. От впалых его боков пер пар, что от того перегретого самовара. Требовался большой перекур, не то не дотянуть нам до своей части.

Распряг я Тумана. Уморенный, присел на пенек, а Туман улегся напротив, завалив свое грузное тело на здоровенный куст не то орешника, не то терновника.

Сидим, значит, мы, смотрим друг на друга.

Была у меня в то время люлька, старая, дедовская. Никогда с нею не расставался. Бывало, раскуришь, раскочегаришь ее, а Туман косит глазом, жадно так на люльку мою смотрит, губы облизывает и сказать будто хочет: "Ну будь

человеком. Оставь сорок". В кого он выдался? В папашу перса? В мамашу грузинку? Наши-то российские кони терпеть не могут табачного дыма. А этот... Ну раз курнуть дал, ну два дал, а там и совесть, казалось бы, иметь нужно. Ан нет. Привык мой Туман к куреву. Что-то надо было делать. Ведь у Тумана во какие жернова. Сжует мою люльку и глазом не моргнет. И замастырил я ему чубук из пня орехового дерева. А сам мундштук из снаряда двадцать третьего калибра. Стакана два махры входило.

— Вот это да-а, — приняли мы за чистую монету рассказ деда.

— Аж два стакана?

Тем временем дед Семен продолжил.

— Ну что, — говорю я Туману, — покурим?

А он отвечает:

— Давай, Семен.

— Это кто, лошак?

— Лошак что ли?

— Кто-кто... Туман, конечно.

— Туман?

— Да. Туман. Ну а то кто ж? Говорю вам: уж больно умен был лошак.

Дед от такого вот разворота аж почесал затылок.

— Раскопегарил я чубук Тумана, отдал ему. Раскурил свою люльку. Сидим, значит, мы и курим. И за сим этим занятием бдительность, едрит твою корень, утерали.

Долго ли, коротко ли, сидим себе, положив ногу на ногу, сидим и курим. Туман по лесу такого дыму напустил из своего чубука, что, глядя со стороны, можно было подумать — горит лес.

А тут я возьми и ляпни:

— А что, Туман, враг по лесу рышет?

— Да ну тебя, Семен. Ты как скажешь...

При этих своих словах Туман и заржал. Да так заржал, что от соседней елки ветка огромная отвалилась, а я чуть...

— Ну что ты, Туман? Да едрит твою корень, да нешто так можно?

Короче, со мной было нормально. И тут вижу из-за кустарника, что был за дорогой, показалось что-то зеленое. Да, лес сам зеленый, а та зелень, что показалась мне, совсем не лесная зелень. Так вот зелень та шевелящаяся была, хотя ветра большого и не было. Ни ветра тебе, ни какого тебе движения, а зелень шевелится. Она же не может сама по себе шевелиться, если ее шевелить кто-то не будет. Пригляделся я, а там человек. Совсем не страшный. Глаза, уши ну и все такое. По первости я чуть было в штаны не наделал. Понимаете? Во-первых, такая вот неожиданность случилась. А во-вторых, повторяюсь, притупилась бдительность. А враг вот он. Ах, едрит твою корень, какова досада. Ведь внушал себе, внушал Туману — и на тебе.

Тем временем человек выскочил на поляну, где мы сидели. Размахивая винтовкой, он закричал:

— Пиф-паф! Пиф-паф!

И вдруг, резко остановившись, на полуслове замер. Увидев лежащего с чубуком в зубах Тумана, он, широко раскинув в стороны руки, где стоял, там и упал в высокую лесную траву.

Прошло минуты две, а может и поболее.

Тут уж и я очухался. Я свое не упущу. Надо было брать реванш за свою первоначальную трусость. И я взял его. Короткими перебежками, как делали мои однополчане, где ползком, где крадучись, проникаю к упавшему. А сам не-

прерывно думаю: "Не маневр ли то вражеский, не хитрость ли какая? А что если он меня из засады да пулей срежет?" Однако, думать-то думаю, а ползти ползу. Подползаю к месту тому, раздвигаю траву, а там живодристик-австрияк. Головенку в плечи, ручки под себя, задницу старается в кусты спрятать. Как юла, на траве. При форме, при винтовке. А у меня даже камня в руке не оказалось. Пошел на врага с голыми, что называется, руками. Смотрю, а у него глаза от страха закрыты, а может и сознание для пушей важности потерял. И тут я вооше осмелел. Ближе-ближе к его физиономии. А он сопит и больше никаких признаков жизни. Я склонился над ним. И вдруг он открывает глаза.

— Хер-р офисир! Хер-р офисир! — и затрясся и завопил он.

Я тоже переср... Сначала я не понял, что он лопочет. А потом, наконец, дошло до меня. Тот австрияк начал мне давать показания. У, думаю, гадина. Я его за шиворот и, было, начал вытряхивать более секретные сведения военного характера, а он, трясушка, снова свое:

— Хер-р офисир! Хер-р офисир!

Я придавил его к земле.

— Какой я тебе "хер-р"? Австрияк, а свои же слова коверкаешь. Ежели тебе нужен гер-р — генерал, так вот он. — И показываю в сторону лежащего на терновом кусте Тумана. — А я какой тебе "хер-р"? Это он, понимаешь ли ты, нерусь, это он генерал от инфатории. А я что?.. Я простой солдат, вернее, кухонный работник. Ополовник — мое оружие. Понял? А-а, ни хрена ты не понял.

А австрияк еще больше затрясло. Вырвавшись, он пополз в кусты. В его глазах был неописуемый страх. Он тряс головой и что-то пытался сказать, но у него только всего и получилось: — Хер-р... Гер-р... Хер-р... Гер-р...

Слабаки как вояки те австрияки. Вот что я вам хочу сказать. Вот русский, это да. Без всякой трусости, с одними кулачищами идет в бой. Идет и все тут. Идет и побеждает.

Связал я того австрияка, винтовочку прихватил, да и в часть без промедления доставил. Мне за того дохлого австрияка медалеху какую-никакую подкинули. Какой-то важной птицей оказался. Тумана к кресту представили. Как старшего по званию.

Дед умолк.

От поддувала шел гул, прогорал уголь.

Поплевав на руки, дед взял лопату, набросал, покряхтывая, в топку угля. Гул утих, но резче запахло мазутом.

— А вот в отечественную войну у меня был другой конь. Серком звался.

Дед Семен немного помолчал, очевидно, припоминая детали, либо что-то явно интересное.

— Ну этот вооше. Одним словом, ин-тели-пу-пия! — прошелся он по слогам.

— А что, деда, Серко тоже курил?

— Вы вот что, не оговаривайте, — было осерчал он. — Серко интеллигентом был. И постоянно при галстукке. Курить не курил, но дым мово самосада или махры казенной терпел исключительно из уважения и любви к своему хозяину, то бишь ко мне.

Сколько снарядов перевезли с ним за годы войны. Боже ж ты мой. Сколько дорог, сколько минных полей прошупали. Без миноискателя без всякого. Серко мой был замест миноискателя. Ноздрями этак поводит, ушами попрядет, удилами закует — и вот она, мина. Объехал ее стороной и делов-то. Мина что змея — ты ее не трогаешь, она тебя стс

лет трогать не будет. На войне как на войне. Все было. И ранены оба были и не единожды, и в госпитале лежали, в одной палате канителились, под одним, почитай, одеялом.

Совсем было повело в сторону деда, но вдруг он выпрямился, призадумался. Цigarка давно потухла, зажатая меж его пальцев. Казалось, что желтый осенний лист застрял между двумя суковатыми ветками и ждет хорошего ветра, чтоб взмыть в высоту, пронестись на хорошем потоке, а уж потом где-либо найти свой земной приют. Может, и дед Семен так же вот воспарил тогда, увидев себя с земли, даже взгрустнул немного. Однако, не таким он был человеком, чтобы грустить по пустыкам, и вскоре он снова заскрипел своим голосом.

— Припоминаю один случай, в котором Серко проявил себя. Да так проявил, что другая людина и оступилась бы.

Едем мы как-то с ним, везем под завязку боеприпасных ящиков. Степь да степь кругом, как это там поется, я бы добавил к тем-от словам: степь унылая, степь тягучая. Куда ни кинь, всюду клин. Ну для смеху хоть бы один кустик, хоть бы одна будылочка. В такой вот степи только спать да подыхать. Прикимарил и я. Долго ли, коротко ли, никак не пойму, не то во сне, не то наяву, только вот слышу я этакое монотонное жужжание: "У-у-у". Вот будто шмель или навозная муха неотступно молотит крыльями у моего уха. Открыл я глаза, и первое, что бросилось мне: очень синее небо. Ну очень синее, синее никогда я не видел. Прямо до рези в глазах. Не обнаружил я ни мухи, ни шмеля, ни еще чего-то. Но жужжание не удалилось от меня. Скорее, наоборот, оно ко мне приближалось. То уже было не безобидное жужжание, а на меня надвигался сплошной громыхающий гул. И вдруг с западной части неба показались самолеты. Не успел я прикинуть что к чему, как надо мной просвистел один, второй и третий самолеты, да так низко, что у меня одно место зачесалось. Фашистские кресты на крыльях поболее метра намалеваны. Один из летчиков, кажись, самый последний, погрозил мне кулаком. Мол, смотри у меня, сучий сын. А я, встав во весь рост на телеге, думаю, была не была, подыхать, так с музыкой, и прожестикнул ему рукой в районе ширинки.

Самолеты ушли на восток.

Я продолжал свой путь на телеге на запад.

Почти так же уныло ползла предо мной степь, и лишь что-то еле уловимое, что-то новое проступало в ее облике. Вроде бы та же степь, и будто бы не она вовсе. Однако вновь слышу вой шмелей. Теперь уж из-за спины. Оглянулся: старый знакомый немец-очкарик, тот, что не так давно кулачищем размахивал, снова повторяет те же фигуры и что-то кричит на своем бусурманском языке.

Я стал поторапливать Серко.

Немецкий летчик видит, что я ухожу, и стал стрелять вдогонку.

Чувствую, что не уйти мне. По крайней мере, далеко.

Остановил я Серко, спрыгнул с телеги, залез под нее и кричу своему четвероногому другу:

— Серко, воздух!

Смотрю, Серко, не долго мешкая, ко мне под телегу лезет.

И тут началось. Засвистели пули, загремели взрывы. Пикируя, летчик все сбрасывал и сбрасывал на мой воз бомбы. Да только падали они вокруг да около. Хорошо еще, что накрыл я воз пуленепробиваемой тканью. С виду вроде

бы обыкновенная тряпка. Тонн пять бомб понабрасывал летчик. Один лишь ящик сдернуло взрывом с телеги.

Так и ушел ни с чем фашистский стервятник. Тоже мне, нашелся вояка. Мы не таких выдывали.

Дед замолчал.

— Ну и ну.

— Вот это да-а, — перевели мы, наконец, дух.

Вот уж натерпелись страху. Загадели как-то сразу все присутствующие в кочегарке. А уж удивлений и хохоту было, так то не передать словами.

— Так вот, едрит твою корень, в сей момент по домам. Живо. А ну брысь отседа, не то матери сызнава придут. Тогда уж точно несдобровать мне из-за вас, голодранцев, — шумел дед, закрывая следом за нами дверь кочегарки.

## Сергей ЛУЗАН

Родился в 1946 году в Благовещенске.

С 1970 года живет на Таймыре.

Автор поэтических сборников "Долина семи солнц" и "Волчи звезды".

### ДУЙ И НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ

Рассказ

Женька Иванников прилетел на пару дней из тундры. Загорелый, черт. Подтянутый, мощный. Глаза так и сияют голубиной. Волосы темные, тугой шапкой, хоть горячий уют ставь — проволока! Кувалды-кулаки положил на стол, рассказывает о своем житье-бытье и похихатывает: "Ну, быть добру!"

Напротив сидит его двойник — Валера Файрузов, голова норильской охотинспекции. Я их сначала даже путал. Два серийных шкафа. Только у Файрузова волосы прямые, тоже крепким ежиком, и цвет лица посветлее, а вот характером он пожестче, хотя говорили мужики, что если Женька Иванников рассвирепеет, зуб у "Катерпиллера" может кувалдой своей обломать — и правой, и левой.

Сидим, покуриваем. Посмеиваемся над тем, как меня отдыхавшие на Агапе мужики приняли за кабинетного журналиста, который пишет стишки о тундре, изучая ее по энциклопедии...

Вообще Женька Иванников — отличный телерадиоинженер, хороший оператор, тундровик по натуре. Так получилось, что мы с ним почти год на Агапе в напарниках прокантовались. Рыбачили. Вместе точку достраивали — и дом, и гараж...

А ледник с Артюшкой Гервазюком ставили. Славная точка на Агапе получилась. Жаль только, что этой весной там два "Бурана" украли. Какая-то грязная скотина из своих, из тех, кто знал, что у Женьки кончились продукты и родственник умер. Он выехал на пару дней. "Буран" украли, а так все нормально.

Забавно Иванников с Файрузовым познакомились несколько лет назад на пясинском отстреле дикого оленя. Многие мужики на этом деле в отпуск подрабатывали. Было дело, а сейчас заглохло. Олень умней стал. Ждет, когда лед на Пясины окрепнет, и проходит мимо охотничьих точек. На переправе его уже не возьмешь.

Так вот. Выехал Иванников на своей лодке под "Вихрем" с лодочной станции Валек, с причала Норилки. Идет полным ходом. Прошел озеро, в речку Пясину вошел и на подходе к первому из отстрельщиков встряхнул бензиновый бачок — а он почти пустой. Худо дело. Надо у ребят разжиться... Причалил. Его встречают, сияя. Чуть ли не шеренгой все охотники выстроились, руки жмут, улыбаются:

— Да заходи, Валера! Мы сейчас чаек соорудим! Рады видеть! Бензин? Да это мелочь. И бачок зальем, и канистру подарим!

Простоватым парнем Евгения Иванникова ну никак назвать нельзя. Валера значит Валера. Он разочаровывать отстрельщиков не стал.

Какой там чай! На столе бутылочка отличного коньяка "Двин", вареные языки оленьи, икорка черная, икорка сиговая, пельмени, салаты из свежих овощей. Хорошо чаек попили.

— Да ты, Валера, не стесняйся! Может, с собой икорочки захватишь? Володя, там в мерзлотнике, баночку трехлитровую достань.

Бригадир проводил его до лодки и невзначай спросил:

— Валера, а ты куда?

— До мыса Урванцева.

— Ага...

Бригадир убедился, что лодка скрылась за поворотом, и озадаченно побежал к рации. Шорох по реке наводит.

На следующей точке отстрела Женю Иванникова встречали, как князя Юрия Долгорукого в Москве. А еще на следующей — круче. Эх, жизнь-мама! Хорошо-то как! И все тебя любят, и все тебя на руках носят. Какая разница Валера или не Валера...

Вот только на предпоследней промысловой точке симпатичная повариха Зинка глянула искоса, а потом шепнула с усмешкой:

— Ты, парень, дуй и не оглядывайся до мыса Урванцева.

Я на связь выходила — за тобой по пятам едет охотинспектор Валера Файрузов. Спешит, парень!

Только на первой точке отстрела мужики успокоились после отъезда дорогого гостя, на берегу снова появился Валера, что поразительно — абсолютно трезвый, ну ни в одном глазу, и стал составлять протокол. Мужики не поняли юмора, но промолчали, в душе обматерив коварство контролирующих органов. Обули их здорово.

На второй точке ребята вообще запаниковали. Грехов было предостаточно, но тоже промолчали, сцепив зубы.

На третьей точке бригадир возмущился и высказал все, что по этому поводу думает. Файрузов ошалел, а потом, разобравшись, рассвирепел. Решил во что бы то ни стало настигнуть нахала-самозванца.

В домик отстрельщиков на мысе Урванцева Файрузов ворвался рано утром. Женя Иванников, мирно посапывая, спал, и ему снились прекрасные сны о человеческой доброте, щедрости и вообще все хорошее.

Файрузов сгреб полушубок вместе с рубахой Иванникова и стащил его с нар. Они уставились друг на друга, оба ошалелые и хмурые по разным причинам. Смотрели-смотрели, смотрели-смотрели и... расхохотались. Вот с тех пор и дружат.

Я почему-то вспомнил: на Агапе, когда мы с Иванниковым на пару работали, тоже забавная история получилась.

Ходко время шуршит. Снова весна. Сколько их было, этих весен?! Все не похожие друг на друга, но все дочери одной матери — тундры. Их различаешь только приметливым взглядом, по линии краснотала, по оплавленному снегам Дуромая или Сухой Дудинки. По речкам уже поперла наледь. Сочится под снегом, тихонько поскуливает тяжелая вода, округляет кристаллы, превращая их в алмазные капельки на лыжах.

Вчера переходил Агапу и в наледь врехался. Лыжу приросало. Выковыривая из-под снежной жижи голой рукой, ногу сорвал. Засопел от неожиданной боли, как маль-

чишка, выругался в чистый воздух, глянул на обтаявшую глинистую кучу и улыбнулся: над кучей мощный куст ольховника, с подрезанными прошлогодним паводком корнями, уже начинает потихоньку шевелить почками. Корни в лохмотьях, набухли соком, как мой палец.

Все заживает, все проходит. Вот только глупость человеческую и жадность вылечить трудно. Приходится иногда сильнодействующее лекарство применять. Я думаю так, что все лекарства от глупости нужно сначала на себе испытывать. Такая возможность случается часто — что греха таить... Опыт лечения собственной глупости и называют мудростью человеческой.

В тот забавный день я поднялся рано. Обычно встаю часов в шесть утра — давняя привычка. Поплескался под ручкомойником, "шмель" раскопегарил, чайник, сработанный сварщиком Оразбеком-усто, поставил на огонь и вывалился на солнышко "подышать босиком". Эту штуку я сам себе по весне придумал. Выходишь босиком, без шапки на мокрый снег и стоишь под солнцем и ветерком минут пять — слушаешь тишину. Подошвы чешутся, немеют. Глаза слезятся от сорока пяти радуг в ресницах. Радуги я точно подсчитал. Может, у кого их больше получается, а у меня веки, как у крохали, без ресниц, птичьих, но все равно сорок пять радуг насчитал.

Блаженство. Чувствуешь, как спиралями тишина через все тело — земля с небом шепчется. Еще руки вверх протянешь, потрясешь пальцами, от кончиков голубые волны к солнцу уходят.

Потянешься всем телом до хруста, выдохнешь воздух глубоко-глубоко, до скрипа в легких, и потом медленными глоточками его пьешь. И радуги в ресницах начинают в такт каждому глотку поигрывать. В эти мгновения слышишь все от горизонта до горизонта и видишь все. Ни одна самая мелкая птаха из поля зрения не ускользнет.

Глянул, а за Верхней Агапой черная точка движется. Вроде техника идет. Звуча еще не слышно. Чуть сносит ветром. Бинобль взял. Точно, "Буран" идет с санями гружеными.

Подвывание мотора уже было слышно четко. Мужик едет в малице. На санях кулек продолговатый. Похож на завернутого в брезент человека.

Этого мне только не хватало. Может, труп пытаются спрятать где-нибудь в овраге или спустить в озеро. Ружье зарядил картечью и поставил рядом со шмотками.

"Буран" подъехал к избе, а я из пристройки в щель наблюдаю. В таких случаях нет смысла раньше времени высываться.

Мужичок широкий, но низенький соскочил с "Бурана" и начал куль раскручивать. Из него вывалилась бабеночка в шубейке и бакарях. Отряхнулась и уверенно зашпешила к избе, а ее спутник привычно стал накидывать на снегоход брезент. Опытный парень, видно по повадкам.

Здесь я уже ухмыльнулся. Молча вышел и так же молча стою. Смотрю. Подкатывает ко мне бабеночка — ни здравствуй, ни имени.

— Вот... Вот... Мы здесь землю смотрим. Родовое хозяйство будет. Дед мой здесь охотился и отец мужа. Чай пить будем.

Глаза раскосые, быстрые. Мордашка круглая, симпатичная. Боевая бабенка: лет восемнадцать-девятнадцать, не больше.

Я молчу. Мужик подходит и степенно представляется: "Степан Иванович". Я продолжаю молчать. Только кивнул головой. Пустил их в избу и поставил без единого слова чай. Парень оказался молодым тоже, и что-то знакомое в его крепкой низенькой фигурке, да и овал лица... Лет двадцать пять, не больше...

А бабеночка, судя по всему, неночка, из соседнего поселка, Элеонора, как выяснилось, уверенно, я бы даже сказал, наглово начала хозяйничать на кухонном столе. Не люблю этого. Гость должен уметь себя вести как гость. Видно, в интернате выросла.

Молодые сидят. Ерзают. Их тревожит мое молчание. Я продолжаю в упор рассматривать парня, не обращая внимания на суету Элеоноры. Он не выдерживает:

— Отец мой в этих местах пасти и капканы ставил...

Степан Иванович выжидательно смотрит на меня.

— Вот мы пришли посмотреть место. Летом передем. Вертолетом.

— Кто твой отец?

Парень оживился:

— Маклаков Иван, Иван Петрович. Его здесь, по Енисею все знают. Могут подтвердить.

— Жив отец?

— Нет. Умер.

Парень смутился. Я внимательно рассматривал Степку. Он возмужал. Совсем мужиком стал, а давно ли мы его после роддома с Ванюшкой обмывали?! Значит, и Ванька Маклаков сгорел от водки. Пил он много. Плотник нарасхват. Вот и сгорел. Хорошо хоть парень вырос и соплячкой интернатовской обзавелся. Лишь бы не пил. Выдержав паузу, цежу весомо:

— Ванюха Маклаков ставил путик вместе со мной на Малой речке. Сюда он никогда не рыпался. Я ему все свои капканы оставил и ружья подарил, когда уезжал...

— Ой, дядя Сережа! Я вас не узнал...

Вмешалась Элеонора:

— Ничего не знаю. Здесь мой дед охотился. Место наше, мы так решили. Так будет. Я в сельсовете справку возьму. В Дудинку поеду. Нечего нашу землю занимать. Можете "на материк" уматывать.

Разошлась соплячка. Глазенки злые. Степка стушевался. Видать, под каблуком у этого колобка. Я на нее даже не смотрю и вроде не слышу:

— Давай, Степа, отца помянем...

Открыли бутылку. По стакану опрокинули. Потом по второму:

— Дядя Сережа, а че в гости-то не заезжали? Вас и мама часто вспоминала, и дядя Петя, и дядя Вова... В газетах читали. Давно, правда. А потом не слыхивали...

Я разговариваю только со Степкой. Элеонора наворачивает абрикосовый компот с пряниками и неприступно поджимает губки. У меня возникает забавный план — внезапно, как и все мои веселые авантюры.

— Да вот, — говорю, — Степан, тянул срок. Пахал на хозяина восьмерик. По 126-й, пункт 8, прим-а.

Ей-богу, что означает эта статья в Уголовном кодексе, тем более "прим-а", и существует ли она вообще, не знаю.

Глаза у Степы округлились, Элеонора замерла, оцепенела, окаменела.

— За что, дядя Сережа?!

— Из-за собак, Степа, из-за собак-собачек...

— Как из-за собак?

Я выдерживаю паузу и медленно, нехотя начинаю выдвигать из себя слова:

— Слышал ты, наверное... Уехал я с женой на Факел жить. Там она схлестнулась с Геворкяном. Один раз простил, а потом вот этими руками задавил. Много бы не дали, если бы только на почве ревности. Года два-три, ну, четыре, а я кровь в тазик спустил. Ночью собакам вылил — сожрали. Порезал на части — не едят. Отварил в бочке, тоже ночью. От парухи, парогенератора, иглу в бочку воткнул. Часа два кипело мясо. Пес ногу с чулком на настил около конторы вытащил... На этом я и сгорел... Вот отсидел и сюда, на точку...

Элеонора икала в углу. Степан окаменел, а я медленно продолжал:

— Все бывает, Степа, все бывает. Одно тяжело: как увижу шею бабью, так сами пальцы тянутся...

Элеонора даже икать перестала, а я монотонно и буднично продолжал:

— Ничего с собой не берите. У меня все есть. Мне уходить некуда. Вместе жить будем... Видишь, хозяйство хорошее. Бабу привозил. Убежала. Я по ночам вставал и к ней подходил, а утром — ничего не помню.

— Поехали, Степка, нам пора! Нечего пить. Нечего! Поехали!

Степан охотно засобирился:

— Ну, мы поехали, дядь Сережа... Нам еще до поселка добираться километров сто.

— Приезжай, Степан. Рад буду тебе.

— Нечего ему здесь делать! Нечего водку жрать! Отец спился... Нечего! Поехали, Степа! Поехали!

Ох и быстро у них "Буря" завелся. Дунули со "своих родовых" земель, не оглядываясь.

Через четыре дня пришел вездеход, и Женя Иванников вернулся. Я ему рассказал и про чулок с ногой, и про "статью 126-ю, пункт 8, прим-а". Поохотали, вспоминая.

Больше я ни Степу, ни Элеонору не видел... Правда, недавно был в Дудинке, встретил знакомую из поселка. Она поздоровалась со мной перепуганно и заторопилась в другую сторону...

## “МЫ НА ХОДУ ПРИКУРИМ ОТ ГОЛУБОГО ПЛАМЕНИ ПУРГИ”

### Рассказ

Мы сидели с режиссером Геней Полторыхиным в зале ожидания аэропорта Валек уже третьи сутки. Над Норилькой гуляла пурга, матерая февральская пурга, и, судя по всему, запланированная телепередача о "смутьянах", о монтажниках "Норильсктрубопроводстроя", явно проваливалась — слишком мало времени оставалось на съемки, монтаж и дошлифовку сценария.

Ждать я умею, но, что самое главное, я еще не видел в собственном черепе рабочей схемы. Встретить бы хоть одну знакомую рожу с трассы. Я их сразу же узнаю. Кожа чуть прихвачена ветром и солнцем, да и черты лица характерные. Губы чаще всего крепко сжатые. Походка чуть вразвалочку и спокойная. Часов по десять-двенадцать на морозе в маечке не поработаешь. Приходится на себе таскать ворох

теплой робы, вот и отвыкаешь от лишней суеты. В тундровой амуниции по пояс в снегу не попрыгаешь петушком.

Дьявольщина! Встретить бы кого-нибудь! Лучше, конечно, Сыча. Фамилия у него такая, Сыч, а зовут Лешей. Вообще-то по паспорту Леонид Сыч... "Нарекли Леонидом, а кличут Лешкой..." Это я стихи Сафронова вспомнил. Мы с Лехой Сычом особо не дружили, но мужик он высшей пробы: никогда никого не подводил, а на трассе только это и ценится. Потолковать бы, но, кажется, уехал "на материк"...

Метет не слабо. Судя по всему, и завтра будет нелетняя. Хотя бы до Факела прорваться. Отработать по "Газпрому". Так, наверное, и переиграем. С Мессояхой и Северосоленинским куполом явный облом, да и лучше всего начинать с Факела, с Тухарда. Там раскручу полностью обстановку на трассе, да и знакомых смогу найти.

Отбой. Отбой по всем рейсам. Над Норилькой мела уже не просто пурга, а путавший небо с землей ураган. Еще один бездарно ушедший день. Сколько их... Таких вот...

В городе из автобуса я вышел на остановке около агентства Аэрофлота, перешел дорогу и свернул к "Пирожковой". Я часто сюда заглядываю. Обычно здесь не шарахаются бичи, чисто. Буфетчицы дружелюбные и быстрые. Можно даже посидеть за коньячком и подумать.

Глотнул. Конечно, не "Двин", но вполне нормальный напиток. Поднял глаза, скользнул взглядом по небольшой очереди и по залу. К соседнему столику подходил... Леша Сыч с женой. Все просто и забавно взаимосвязано. Я сразу же, как только увидел Лешу Сыча, понял, что телепередача состоится. Он поможет. Он просто не может не помочь.

Вездеход проскакивает Большую Хету. Пурги как будто никогда и не было. Солнце садится на заструги. Розовые заструги с голубыми и зелеными выемками. Вездеход летит по зимнику. Из него, как у тяжелого быка из ноздрей, валит пар с гарью и смешивается с мелкой искристой пылью. Боже мой! Как все знакомо и привычно. Дороги в этом мире повторяются. В колыбели времени нас всю жизнь нянчит судьба. За рычагами Леша Сыч молчалив. Привычно поглядывает на приборы. Его качает в такт с поверхностью планеты. Я вспоминаю его рассказ двадцатилетней давности. Конечно, в мелочах могу ошибиться...

## Расписка Кравцова

Тогда ремонтники за Варнгэяхой работали, километров эдак пятнадцать до Мессояхи оставалось. Валерий Кравцов начальником линейно-эксплуатационной службы был. Корсар, а не мужик. Во-первых, высокий, жилистый и красивый, чертяка. Отсидел лет восемь за ограбление, московская шпана. В зоне повезло. Скорешился с преподавателем математики, который вляпался в какую-то финансовую аферу и загремел по полной схеме. Скорешился и, шутя, выучил наизусть учебник алгебры, геометрии и тригонометрии. Потом взялся за физику. Короче говоря, после зоны закончил МВТУ имени Баумана, кажется, энергетический, или что-то в этом роде. Считал в уме, как бог. Ходячий компьютер. Характер размашистый, рисковый.

В карты играл азартно, тоже рискованно, удачливо, но честно. Конечно, на деньги. За словом в карман не лез. Начальство его побаивалось, а трассовики даже любили за справедливость и гордость.



Это был первый рейс Леша Сыча на трассу, или один из первых. По радию обходчики попросили подвезти пару бочек бензина. Сыч заупрямился — по инструкции не положено в ГТТ (грузотранспортный тягач — "паспортное" имя вездехода) бензин возить. Инструкция, конечно, инструкцией, но дело происходило в России, тем более за Полярным кругом, где инструкции используют чаще всего вместо туалетной бумаги.

Сыч: "Не буду!"

Кравцов: "Вези!"

Сыч: "Не буду!"

Кравцов: "Приказываю!"

Сыч: "Пиши расписку!"

Кравцов: "Слово! Расписку дам. Езжай!"

Загрузили бочки. Перетянули пеньковым канатом, чтоб не болтало, закрепили и двинули. Зимник был разбитым. Машину кидало из стороны в сторону. Зашли уже за "русский лес" (кладбище засеваемой в болоте техники), уже огни Мессояхи видать. Сыч оглянулся, а за спиной полыхает. Бочки поставили на стальной трос, видать, плескало во время тряски, и после искра проскочила между бочкой и стальным тросом. Выскочили, открыли задний борт, в сумочках перчатках пытались вытянуть бочки. Невозможно — скручены канатом. Канат тоже горит — и не развяжешь, держит бочки намертво.

Дергали, дергали... Бесполезно.

— Все, мужики! Завязывай! Сейчас рванет...

Только отскочили — рвануло. Вездеход полностью заправлен... Ну, пошло полыхать и, взвизгивая, бухать! Металл поплавился. Мужики стоят на ветру, и морозец давит. На душе — что там говорить...

Минут через пятнадцать прожектором кивнул вездеход, отвалившийся от Мессояхи. Утром добрались до дома. Кравцов уже все знал. Молча положил перед Сычом расписку: "Беру всю ответственность на себя". Его сняли с работы...

К ремонтникам на гребенку Малой Хеты мы подъехали, когда уже стемнело и в предзвездных сумерках заплескалась тонкая сталь мусульманского месяца. Лиственницы подрагивали черными линиями на еще светлом горизонте. Едва слышно насвистывал ветер знакомую мелодию.

На санях огромная бочка — жилой вагончик. Уже прожаривший, обшарпанный. На тракторах все продумано, подварено, подогнано, уложено — ничего лишнего. Матерые трассовые волчары. Поседевший в снегах Ванюша Кий, карпатский русин... Володя Бушма и Валерий Тарасов... Володя Пономарев... Мы все уже поседели и научились прощать друг другу и ошибки, и недостатки. Неприемимость — удел глупости и молодости, хотя есть вещи, которые я не забываю и не прощаю. Это долгий разговор о судьбе и трассе. Долгий. До конца жизни. Так оно и будет.

Идут тракторы вдоль ниток газопровода. Останавливаются. Протаскивают трубы бензореза, протаскивают кабель от сварочного агрегата... Тянут гайки. Шаманят, чтоб не раскручивало трубу ветром, как раскручивают девчонки скакалку. Такое бывает. И газ протирает сталь изнутри. Прижмешься ухом — слышны шорох и позвонивание. И люди седеют, и металл седеет. И люди не выдерживают, и металл иногда не выдерживает... А трасса шутить не любит, ой как не любит... И тундра тоже... Север, одним словом.

После работы гоняем чай из железных кружек.

"Давай-ка, Леша Сыч, с усталости чаек, Играют янтари огнем в горячей кружке. Маячит за окном пургобородый бог, Ладоней серебро прижав к стеклу избушки". Это я опять стихи вспомнил.

Да, видали здесь всех голубых демократов верхом на красных сталинских жеребцах. И семечки из яблок, и дядьку, который лихо таскает думских баб за волосы... Только иногда седой и добродушный Ванюша Кий процедит, блеснув яркими молодыми глазами: "Я бы их маму... С этими границами и с этими СНГ..." Его родня вся на Украине, да и мой там тоже, да и у Леша Сыча.

Он закуривает, чуть усмехается и рассказывает.

"Ходил за хлебом в поселок. В магазине знакомую встретил. Трассовичка — палец в рот не клади. Спрашивает:

— Ты, Леш, сколько лет на трассе?

— Да вот, уже четверть века скоро.

— И все по вахтам?

— Да, все время вахты.

— А сколько ты накручиваешь за вахту километров на вездеходе?

— Ну, километров 400 — 500. Когда как... А зачем тебе?

— Да вот, — говорит, — хочу подсчитать, на сколько километров вы, мужики-трассовики, нас, ваших жен, недо..."

В вагончике никто даже не хохотнул. Только Валерий Тарасов поскреб бороду и выразительно потянул: "Да-а... Что есть — то есть! В корень смотри".

## Февральские ванны

Снова гремят траки вездехода по кочкам и колдобинам. Музыка. Гена Полторыхин снимает телекамерой покачивающегося Сыча. Я сонно киваю головой. Прикуриваю очередную сигарету. Такое ощущение, как будто никогда отсюда не уезжал. Знакомо каждое дерево, каждый сугроб. Вон там, за буграми, мы вдвоем с пилотом грохнулись на вертолете Ми-2 в 1975 году. Вертолет вдребезги. У меня был выбит только палец, у пилота остался на груди след моего сапога. А вон там, за поворотом Малой Хеты, я в феврале четыре раза нырял...

Напарник был у Сыча, не буду называть фамилию. Обычно после вахты я оставался в тундре охотиться. Финансовое положение было алиментарно-сложным. Вот и крутился, как мог. Пол-России мужиков через это прошли. Дело обычное. Напарник у Леша был тошим, носатым и чуть гундосым. Для простоты Гундосым я его и буду звать. Собрался я в свою избушку, а он начинает вокруг да около насчет зайчатины и шкурья. "Есть, — говорю. — Только зверь-то в мешок сам не лезет — это труд. Нормальный и тяжелый труд. Завези мне угля. Я сам загрузу. Благо, этого добра на причале — горы, а деревья вокруг избы валить жалко. Пару шкур дам и зайчатины жене увезешь".

Ударил по рукам. Он выкроил пару часов и втихаря от начальства рванул ко мне. Час нормальной езды, ну полтора, в одну сторону, не больше. Доехали быстро. Разгрузились. Я рассчитался. Он по газам и в поселок.

Через час возвращается пешком... Шел обратно по своему следу, и под берегом вездеход — под воду. Гундосый выскочил нормально, но глаза белые от страха:

— Все! Меня посадят из-за тебя!

— Я что?! Под стволом заставлял за шкурьем ездить?

— У меня жена... У меня дети...

Вижу, толку с него никакого. Дело хреновое. На трассе огневые работы. Вездеход нужен позарез. Оставил Гундосого в избушке. Сам на лыжах в поселок подался. Хорошо, луна — не в пример сегодняшней. В поселке вышел на связь и в двух словах шефу рассказал. Мы с ним не ладили. Он ответил просто: “Даю сутки...” Я к пилотам к матерым, к “шестым”, точнее, к Пекинскому Дракону, был такой ас, уже на пенсии давно, можно рассказать...

Он побряхтел и так говорит:

— Вытащить-то мы вытащим, но вот как бы винт берег не зацепил. Утром на развороте залетим к тебе и на месте прикинем. Если впишусь — сбросим “паучок”, ты выдолбишь до обеда лунку, застроишь железку, и после работы мы попробуем.

Утром перед вылетом я заскочил в магазин. Взял пару бутылок спирта и дополнительную теплую робу. Тянуло крепко. Небо чистое, но мороз с ветерком. Пекинский Дракон примерился — вписался. Сбросил “паук” — четыре троса для работы с вертолетной подвеской. Я дошел до избушки. Гундосый спал, как младенец. Даже дров в печь не подкинул. С валенками на постель залез. Пошли отдалбливать лунку. Пешня у него из рук вываливалась. Руки боле-ли, оказывается. Стропить вездеход под водой он тоже не стал. Я спирта трахнул и за четыре раза застропил железку.

“Шестой” зашел гениально. Тросы натянулись. Ду-ду-ду... Ду-ду-ду... девятнадцать раз дергал Пекинский Дракон вездеход. Холодный металл прихватило к донному льду. Я тоже думал — сбросить и хана. Но Дракон не даром ордена получал. Вездеход медленно вышел из воды. Его протащили по льду и сбросили на песчаную косу. Вечером того же дня приехали шеф и Леша Сыч. Возились в вездеходе сутки...

Когда вспоминаю, Леха только машет рукой: “Не говори! Поковырялся... Было бы по делу — это работа, а так, из-за тупорылости — здоровья жалко своего”.

По делу работать не всегда получается. Жизнь — она и есть жизнь.

Пока дремал и вспоминал, за стеклами замаячили огни Факела, огни Тухарда. Факел — это по привычке. Отоспимся и завтра на Варнгяяху... Но с утра Леша Сыч, Леонид Михайлович, обязательно прошупает всю машину... Ни разу за четверть века по его вине вездеход не накрывался. Ну что тут скажешь? Ас!

Как говорят ненцы: “Хей-во!” Пора... В дорогу! “Мы на ходу прикурим от голубого пламени пурги...”

## Владимир ЭЙСНЕР

Родился в 1941 году в Омской области.  
Печатался в окружной газете "Таймыр",  
альманахе "Полярное сияние". Живет в Хатанге.

### ЧЕРНЫЕ ВОРОНЫ, БЕЛЫЕ АИСТЫ

Рассказ

*"Иди и впредь не греши..."*  
От Иоанна, 8.11.

До поселка оставалось не больше пяти километров — кучка огней уже выросла в длинную цепочку, когда неожиданно заглох мотор.

Анатолий Степанович сошел посмотреть. Ага. Бензин кончился. Это ничего, в санях всегда есть запасная канистра, сейчас отвяжем, заправимся, поедем дальше.

Он прошелся несколько раз вдоль снегохода туда-обратно, разминая затекшие ноги, похлопывая себя по плечам, выбивая из них мороз крепкими ударами тяжелых рукавиц. "Буран" — машина открытая. Холодно.

Большой черный ворон неожиданно упал с неба на привязанный в санях мешок с рыбой и крепко долбанул мешковину клювом.

— Кар-р!

— Что, земляк, оголодал? Жмет мороз, а?

— Агар-р! — подтвердил ворон.

Охотник принялся отвязывать мешок — ворон лишь перескочил на край нарта.

Искоса взглядывал на неожиданного гостя и его взерошенную подругу, вопросительным знаком застывшую поодаль.

Мороз под сорок, а им хоть бы что! Только когда "жмет" под пятьдесят, вороны становятся вялые и скучные и появляются вблизи дворов и пристроек, норовя стянуть что-нибудь съестное. Но стоит чуть потеплеть — и они опять в лес. Самостоятельная птица!

Анатолий Степанович вынул из мешка рыбину, побил, побил ее топором мелко и отнес метров за десять от "Бурана" на твердый снег. Ворон принялся торопливо склевывать крошку. И охотник пожурил его:

— Не части, парень. Жене оставь! Мужик ты или нет?

— Агар-р! — согласился ворон.

И действительно, вторая птица, осмелев, тоже принялась склевывать накроху.

Анатолий Степанович не спеша заправился, раздробил и оставил птицам еще одну рыбину и, вполне довольный собой, поехал дальше. Ворона накормишь — беду отведешь, говорит старое поверье, а с годами всякой мелочи начинаешь придавать значение, ибо ничто не происходит в мире просто так.

...Больше всего устают руки. Так устают руки, просто как чужие становятся, пока путик проедешь. Бьет и коло-

тит "Буран" на застругах, пока доберешься наконец до лесной зоны, до мягкого, податливого снега.

Опять опоздал. Думал, к вечеру успею, а сейчас уже начало шестого утра. Спит Аня, спит доченька, а ты грохочешь — не только дочь, весь дом разбудишь.

На самом малом газу подъехал охотник к дому и заглушил "Буран". Обил с себя снежную кухту. Отвязал с саней мешок с рыбой и второй, с двумя замерзшими тушками песцов, — вся добыча за последнюю неделю. Подволок мешки по снегу к дверям пристройки. Всего-то пять метров. И тут уперся взглядом в большой висячий замок, вдетый в массивные бронзовые проушины: сам сделал осенью из ключин старого рыбацкого баркаса.

Так. Утро, а дочери нет дома. Такого еще не было...

В кухне на столе записка: "Папуля! Я — на день рождения к Ленке. Там тебе блинчики в холодильнике. Так не ешь. Разогрей. Я скоро. А."

И куда ж ты подевалась, дорогая моя А.? Он прошел к плите и поставил чайник. Кому теперь звонить? Родителям этой самой Ленки? Будоражить людей? А если и та дома не ночевала? Ну, заяц! Ну, заяц, погоди! Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом!

Хлопнула дверь пристройки. Торопливые шаги. Открылась входная дверь, и взору охотника предстали две девушки. Одна очень похожая на родную дочь. А другая... А другая — подруга, наверное?.. Нет, это, наверное, мать подруги. Проводила Аню домой...

— А вот и мы! Папуля, это Вероника, моя новая подруга. Знакомьтесь.

Дочь небрежно бросила пальто на стул. "Новая подруга" отступила в тень и незаметно исчезла, даже дверь не скрипнула.

— Не смотри так, па... Ну, плясали, танцевали... "В мягких муравах у нас — песни, резвость всякий час, так что голуவு вскружило!"

Анатолий Степанович отошел от окна. Теперь свет падал на дочь, высвечивая изменившиеся черты. Незнакомые. Чужие. Неприглядные... Да, уж порезвились, уж вскружило голову! Его дочь, его милое, родное дитя, была крепко навеселе. И не только это. Вместе с хлынувшим в комнату букетом чужих запахов, в котором запах спиртного был лишь одним из компонентов, охотник почти физически ощутил присутствие запаха беды, непоправимого несчастья, распознавать который научают лишь прожитые годы...

"Изнасиловали! — мелькнула мысль. — Но причем тогда эта... Где-то я видел эту Веронику... Нет. Не может быть!"

— Ну что ты так смотришь?.. Ну, выпили немножко... Я ведь уже большенькая у тебя. Скоро семнадцать... Там пилоты с московского рейса анекдот рассказали. Что делает настоящий мужчина по утрам? Не знаешь? А так просто! Встает, умывается, бреется, чистит зубы, пьет кофе и идет домой! Ха-ха!

И я так! И я стала настоящая!.. Зарабатываю! Я сама зарабатываю! Вот моя первая получка!

Тугая пачка денег со звуком пощечины ударила о стол и скользнула на пол. Следом полетели мерзко хрустнувший бумажный ком и две-три мятые бумажки.

— Вот! Платье к выпускному! И туфли! Сережки! Кулончик! И сумочка! Все девочки приодетые, модные, души-

стые, одна я — как Золушка! Не можешь! Ты не можешь! Так я сама!

И еще что-то кричала, оскорбительное и гадкое, бледная, пустоглазая, коротко взмахивая твердыми белыми кулачками.

Кровь бросилась в голову Анатолию Степановичу. Набрякли веки и губы. Щеки налились горячим свинцом и стали, как булыжники, готовые оторваться и упасть... Но не поверил. Нельзя поверить. Невозможно поверить отцу, что его дочь способна на такое...

Наконец, с выдохом снова забилося сердце, и он крикнул ей в бледное лицо:

— Выбрось! Сейчас же все собери и выбрось!

И та как ждала. Осеклась, сжалась, стала меньше ростом. Быстро и покорно подобрала пачку, ком, бумажки и выбросила в мусорное ведро.

— Умойся!

Молча прошла к умывальнику. Зашумела вода. Он смотрел на нежный затылок с завитками белых, мягких, как у ее матери, волос. Весь ужас того, что натворила дочь, еще не проник в сознание. И этот детский затылок, и локоны на нем никак не вязались с грязью... Казалось невероятным и невозможным, что этой ночью его дочь взяли, как потаскуху. Что ей заплатили за девичество, что чья-то рука, жирная, подумалось, толстая, в кольцах и перстнях, купила право мять и перебирать эти волосы... Такое и выговорить-то стыдно и страшно, не то что пережить...

Сейчас вот обернется и скажет: “Пошутила я, па, ну, выпила немножко, ну, прости за дурацкий розыгрыш, перебор это, па, прости...”

Но плечи дочери дрожали, а он стоял и смотрел, не в силах ни с места двинуться, ни слово сказать.

Ощущение физической нечистоты плотным облаком стояло в помещении. И, чтобы не задохнуться, он рванул рубаху на груди и подхватил мусорное ведро, которое, казалось, было клоакой этого мира.

— Иди в ванну! Грязь смой!.. Я сейчас... Вот пакость выброшу!..

Она обернулась. Заплаканное лицо, прикушенные губы, дорожки слез и уже трезвый беззащитный взгляд.

— Разве душу отмоешь... Не оставляй меня одну!

Он не ответил. Не мог. Полушубок на одном плече. Выскочил во двор. Мусорная башня чуть ли не за квартал. Не сподобились отцы города понастроить этих удобств в каждом дворе...

Что делать, как теперь вести себя с дочерью? Для того ли растил, любовался, гордился, для того ли не женился вторично после нелепой гибели жены? Боялся проблем с мачехой. А будь рядом взрослая женщина, такого не случилось бы...

...Почти год без зарплаты... И пожаловаться некому... Нет денег и точка! Еще с той весны деньги за рыбу не получены, а уже другая на носу... Девчонке надо то, другое, третье... Раньше за тех двух песцов можно было в Москву и обратно слетать, теперь таких шкурок надо около сорока...

А деньги, между тем, каждому известно, “крутятся” на депозитах сильных мира сего. Демократическое правительство... Бессовестный, в открытую, грабеж тех, кто сеет пшеницу, делает гвозди, рубит уголек и добывает меха на воротники вашим дамам, “новые русские”! А до Ивана нико-

му и дела нет. Много их, ванек-то... А поубавится, бабы еще нарожают...

Мусор не высыпался. Замерз. И то. Сорок на улице. Да что ты ведро-то колотишь, выбрось ты его, ведро это треклятое! Медленно побрел Анатолий Степанович назад. Холодный воздух и ходьба немного растормошили и вернули способность рассуждать. Еще несколько шагов, и вдруг отчаянный крик всверлился в мозг: “Папа, не оставляй меня одну!”

Что же ты, что ты не подумал? Ведь сделает чего над собой! Знает ведь, где ключи от сейфа с оружием...

Побежал. Вбежал. Открыл.

Дочь в одном халате сидела на краешке стула. Под стулом натекла вода. Сначала подумал — кровь. Но она подняла мокрую голову, и он понял — вода... Можно ли помыться за эти 10 — 15 минут?!

В луже блестели ключи от сейфа с оружием. На коленях у нее карабин. Смотрит прямо на него, а пальцы вщелкивают в черную прорезь магазина патрон за патроном. Тихо в комнате и сухой металлический щелк. И сухие бесстрашные глаза...

...Слава Богу, успел... Теперь, доченька, уж я тебя не оставлю... Но когда заговорил, услышал вдруг в своем голосе тот же безжизненный металл:

— Зачем же магазин-то набиваешь? Один в ствол — и хватит!

Со стуком уронила карабин, вскочила и бросилась на шею:

— Папка! Папуля родненький!.. Прости меня! Я такая... Что натворила, па! Что натворила! Жить не хочется, не хочется жить!..

Молчал. И гладил короткие мокрые волосы. Да и что скажешь, когда текут за воротник горячие дочкины слезы и ком стоит в горле? Ощущал лишь ребрышки худого, еще совсем девчончьего тела. Да вбирал знакомый запах. Одной рукой натужно дотянулся до вешалки. Снял полотенце. Промокнул ей глаза и тихонько вытер нос. Последнее движение и вовсе открыло шлюзы: слезы полились рекой.

— Пойдем, маленькая, заснуть надо... Горю надо заспать. Тогда меньше его... Вчерашнее горе меньше сегодняшнего...

Он подхватил дочь на руки и, как маленькую, отнес в постель, подоткнул, как маленькой, одеяло со всех сторон и сам сел рядом, как сидел с крохой, когда она болела.

— Не уходи, па, не хочу одна. Посиди так...

Она улеглась на его ладонь зареванной распухшей щекой и вздохнула:

— Там в стволе патрон... Я хотела сразу... А потом подумала, вот приедет из тундры, а в квартире холодно, и не приготовлено, и меня нету, и один. И не стала... И вспомнила, как ты меня на шее катал. Годика мне три было или четыре. На Первомай. Четыре, наверное, все-таки... Ты купил мне мороженку, и я тебе все волосы закапала. Мама еще ругалась... Помнишь? И жалко мне так тебя стало. Старенький ты у меня... Седой... И сажу, патроны вщелкиваю. Два осталось... Хоть бы, думаю, пришел скорее. И ты пришел. Ты, наверное, слышал меня, па? Ты бежал, па?.. И так посмотрел и не ругался... Ты прости меня, папуля, хорошо, что ты у меня есть на свете...

И что-то еще говорила распухшими губами все тише и тише, потом вздохнула и заснула щекой на его ладони, де-

ржа обеими руками его запястье. И он сидел так, пока не затекла рука, потом осторожно освободил руку, укрыл еще раз свое зареванное сокровище и вышел на кухню.

Красное солнце косо светило в окно. Мокрый карабин блеснул, как смола. Острые патроны, как брызги крови. Он поднял карабин, закрыл затвор и рывком открыл. Патрон выскочил и кувыркнулся на полу... Ишь, какая! Сразу стреляться... Где-то видел я Веронику эту... Не в ресторане ли она, официанткой?.. Девочек, значит, новым барам поставляем?.. Конечно, напоили тебя, доченька, а может, и подмешали чего. Но попала ты в такую компанию сама, и к поступку такому подсознательно тоже, наверное, была готова... А разве другое видишь ты ежедневно по телевизору?.. Разве не о деньгах и тряпках слышишь ты ежедневно от друзей и знакомых, от подружек своих, одноклассников и одноклассниц?

Ну, допустим, пристрелю я стерву эту... И его, скота, найду... Закроют меня. И ты — одна...

Нет, доченька, пока замуж не выйдешь, не оставит тебя больше твой па... А оставит он тундру свою разлюбезную. Можно ведь и в поселке... Каменщиком ли, плотником, слесарем, шофером. Многое ведь умеешь, Анатолий Степанович...

Дымное алое солнце на ладонь оторвалось от черного леса. Пограничный день, разделивший навсегда жизнь на "до" и "после", медленно набирал силу.

Выше солнца плыло легкое облако, разительно похожее на белого аиста, каким его рисуют художники всех стран. Чуть отстав от облака, проплыли два черных ворона. Может, те самые...

Долгожданные, прилетают белые аисты, приносят нам наших детей. А за ними — черные вороны: болезни, печали, заботы. Но мы замечаем лишь белых аистов, а черных воронов в упор не видим. Как будто бывает река с одним берегом или день без ночи...

Анатолий Степанович вернулся в спальню дочери и с порога глянул на спящую... С головой укрылась, только пучок мягких светлых волос виднелся поверх одеяла.

Вот и стала взрослая, рослая, во всю постель вытянулась. А маленькая была... Такая маленькая была — вся целиком на подушке умещалась...

## Татьяна ШАЙБУЛАНОВА

Родилась в 1960 году. В Норильске с 1991 года. Студентка Литературного института имени Горького. Публиковалась в поэтическом сборнике "Гнездовье выюг".

### ИСПОВЕДЬ ВОЛКА

Рассказ

Помните, у Набокова, о муже, который каждое утро по самую рукоять въезжает в свою молоденькую жену? Это обо мне.

Это я каждое утро пытался не сломать тонкие птичьи ключицы, впиваясь в хрупкие плечики лапами матерого волка. Каждое утро я въезжал в нее по самую рукоять. Каждое утро. Я не говорю о вечерах. Вечера темны и неясны. Вечерние совокупления похожи на ритуал священнодействия.

Утро — это другое. Я ощущал себя диким зверем, жажущим крови. Ее запаха и вкуса. И мне доставляло сладость видеть каждый раз испуганные глаза маленького загнанного животного. Она в страхе, с черным ужасом, смотрела на меня, когда я впивался в ее шею, стараясь попасть в пульсирующую синюю жилку, сминая тело.

Моей жене было семнадцать, когда я привел ее в серое здание с облупившимися стенами, пропахшее снобизмом и высокой моралью. В здании, стены коего снаружи были грязны, а изнутри окрашены в яркие парадные цвета, вызывающие у меня всегда чувство тошноты. Мне понадобилось тридцать минут и бутылка коньяка, чтобы сломить упорство махровой казенной крысы, которая, поверив сопливой истории о любви старого развратника и юной девицы, после колебаний и упреков в мой адрес, лихо заштамповала паспорта, торжественно объявив нас мужем и женой.

Ты помнишь это, моя девочка?

Ты помнишь, как время столкнуло нас однажды и соединило в один дьявольский коктейль.

Я случайно зашел тогда в твой дворик, пытаюсь сократить дорогу к одной знакомой, у которой надеялся найти вкусный ужин и теплый ночлег.

Ты сидела на скамеечке возле бачков с мусором. Маленькая и худенькая, ты сложила ладошки на коленях, как послушная школьница. Твой мраморный дог рыскал возле. Ты так мельком посмотрела на меня... Так равнодушно, как смотрят на проезжающую машину, или нет, как просто на пустое место. Посмотрела и отвернулась.

Бог мой! Я споткнулся на месте, на ровном месте, где не было даже намека на выбоинку или хотя бы мелкий камешек. Я понял, что предстоит охота. Большая охота.

Я шел к тебе. Шел на запах твоих черных волос, на молочный запах твоего юного тела.

Я вынул сигарету из кармана и небрежно попросил прикурить, и сам удивился тому, что голос мой сорвался, а сигарета, зажата в пальцах, дрогнула.

— Огонька не найдется?

— Простите, я не курю.

Ах! Она еще и не курила. Она смотрела на меня черными птичьими глазками и просто ждала, что будет дальше.

Что будет дальше? Ха! Я умел нравиться женщинам. Я был чертовски обаятелен. Я сморозил какую-то чушь, и ты рассмеялась. Ты смеялась, а я не мог сдвинуться с места.

Я так хотел взять тебя на руки. Почувствовать тепло твоего тела. Смять твои плечики, услышать твой стон и увидеть, о! — увидеть, как ты закусываешь розовую губку, похожую на бледный лепесток неяркого цветка.

Твоя собака подбежала и ткнулась носом в мой живот. Меня любят собаки. Для них я, видимо, тоже чертовски обаятелен.

Я пропал сразу и бесповоротно, потому что признание меня твоим псом сделало нас друзьями.

— Вы любите собак?

— Да, я очень люблю собак. (А еще я люблю хрупких молочных девушек, которые гуляют с собаками.) И между прочим, где вы со своей собакой гуляете сегодня вечером?

Ты не знала, и я пригласил вас в скверик неподалеку.

Ты согласилась. Это было просто. А затем вы ушли. Ты обернулась тогда несколько раз и у двери подъезда помахала мне рукой, прежде чем темная дыра дома проглотила тебя.

До вечера было еще достаточно времени, но я, как идидот, бродил кругами у твоего дома. Потом побрел в сквер, созерцая унылые, облетевшие уже скелеты лип.

Прошли столетия, пока вы пришли. Твой пес чинно шагнул по мокрому, темному тротуару. Огромный мраморный страж.

После необязательных вопросов и однозначных ответов, я выяснил, что, кроме собаки, есть еще и мама. А отца нет. Что ты скрипачка. (Смешно, ты — скрипачка.) Учишься в консерватории.

Мальчик? Нет. Мальчика нет. Подруги? Есть несколько приятельниц. Вечерами? Вечерами ты смотришь телевизор и читаешь. Что? Гессе. Сейчас Гессе. А до этого Набокова. И еще много чего...

И был еще вечер. И еще. И еще несколько вечеров. Я приручал тебя, как маленького осторожного зверька. Мне казалось, прошла целая вечность, пока однажды ты согласилась прийти ко мне, в мою пустую холостяцкую квартиру.

Женщины? Конечно, были женщины прежде, до этого. Было много одиноких и замужних, веселых и грустных. Но ты была первая, потому что это была ТЫ.

И ты оказалась девицей. Это было так же неожиданно, как и то, что я предложил тебе стать моей женой. И ты опять легко согласилась. Просто сказала: "Да".

В твоих глазах, раскосых, узких глазах, было постоянное удивление.

Впрочем, вскоре удивление прошло, и твой взгляд стал наполняться страхом. Перед моей непроходящей похотью. Я не мог сдерживать своего звериного ЭГО, и ты не знала покоя.

Достаточно нам было остаться наедине, как руки мои лихорадочно и горячо начинали искать твоего тела. Мне надо было чувствовать тебя постоянно. Губами я закрывал твой рот, а ты безвольно позволяла мне наслаждаться тобой.

И глаза твои были наполнены сладким ужасом, который не угасал ни на минуту.

Казалось, что СТРАХ живет в тебе постоянно.

Вероятно, сначала это был страх перед матерью, которая долго визжала, узнав о нашем браке. Потом это был страх передо мной.

Чего же ты боялась? Первое время я был нежен и осторожен, я брал тебя на руки, как маленького глупого щенка,

я припадал к твоему пухлому роту, как к роднику, и не мог напиться.

И страх, который жил в тебе, должен был растаять. Но не таял. Твои глаза темнели, зрачки расширялись, и в них метался холодный, бездонный УЖАС.

Тогда я стал грубым, стараясь причинить тебе боль. Господи! Ты должна была возненавидеть меня, и тогда я излил бы тебе всю свою нежность, которой во мне бушевало не море, нет — океан.

Но ты смотрела на меня все с тем же покорным страхом, которого не убавлялось ни на йоту.

Твоя мать, потеряв власть над тобой, безоружная, заискивающая, как лишенная жала змея, пыталась кокетничать со мной, ведь я был только на три года младше ее. Хитрой лисой она смотрела на меня, и глаза ее истекли маслом. Она хотела. Она жадно ловила все изменения в наших отношениях, каждый раз придумывая новую причину для того, чтобы прийти в наш дом.

Твой страх был ей сладок, так же как и мне. Она питалась им, с тайной надеждой, что однажды...

И это однажды — случилось. Одинокая, вянувшая женщина с крысиными глазками, извращенная и голодная. Она была зверем, равным мне по силе. И я ломал ее до хруста, уверенно и жестоко.

И в этот момент вошла ты...

С той минуты ужас пропал из твоих глаз. Пропал навсегда. Но вместо него поселилась БОЛЬ. И ее было столько, что она захлестнула нас обоих. Боль билась в твоих глазах большой черной птицей и не могла вылиться в слезы.

Я плакал и стоял на коленях. Я ругался и неистовствовал. Шли дни, а ты молчала. Мы перестали встречаться с твоей матерью. Я дарил тебе дорогие подарки. И все ждал прощения, пока однажды не заметил, что ты стала другой.

Ты так же покорно принадлежала мне. Так же тихо ты позировала, когда я рисовал тебя карандашом или углем. Ты играла на скрипке, стоя у окна спиной ко мне, но что-то было не так.

Что-то было не так. Я встречал тебя у консерватории, и твои сокурсницы с завистью смотрели на нас, когда я подводил тебя к такси. Словно стена, словно мягкая, но прочная оболочка окружала тебя. Ты прятала глаза и все чаще молчала.

Однажды, после какого-то скучного фильма, я спросил тебя:

— А хочешь, поедем за город и я покажу тебе одно интересное место?

— Все равно, — равнодушно ответила ты, разглядывая рисунок на обоях.

Я подошел и взял твое лицо в ладони. Черная челка спадала почти до самых глаз. А в глазах было равнодушие. ПУСТОТА. Тебе было все равно.

Я забормотал нежные слова. Я оправдывался, как школьник. Девочка моя! Я просил тебя дать мне шанс. Я скулил и корчился у твоих ног.

— Ну хочешь, я для тебя...

— Нет, — сказала ты и серьезно добавила, — я ничего не хочу.

Странное время настало тогда для нас. Я задерживался на работе. Я стал ходить к старым приятелям, пытаюсь показать тебя своим отсутствием.

Я решил наказать тебя за то, что ты меня не наказала.

Я стал пить и начал колотиться. Но ты оставалась прежней.

И ничто не хотело вмешаться в нашу жизнь. Никакие сверхкосмические трансцендентные силы не хотели мне помочь.

Жизнь моя стала, как червивое яблоко. Ядом во мне кипели противоречивые чувства. Я любил. И я ненавидел. Твоя покорность сводила меня с ума, доводила до бешенства.

И зверь, живущий во мне, стал проявляться. Твой пес начал сторониться меня и, жалобно повизгивая, прятался в дальнем углу, едва я ступал на порог.

В тот день я был трезв и побрит. Я благоухал, как фиалка, после посещения парикмахерской. Я уволился с работы. Я продал дорогие часы престижной фирмы, и я шел домой. К тебе.

"Сегодняшний вечер, — сказал я себе, — станет поворотным в нашей судьбе".

Не торопясь я шел к дому, наблюдая, как ленивое солнце сползает за крыши домов. Размахивая рукой, я мысленно разговаривал с тобой:

— Зернышко мое, здравствуй! — скажу я с порога.

— Здравствуй, — равнодушно ответишь ты.

— Я сегодня понял одну очень важную вещь, — загадочно скажу я.

— Да? Какую? — холодно отзовешься ты.

— Во-первых, я люблю тебя, — продолжу я, обаятельно улыбаясь.

— А во-вторых? — ты улыбнешься мне в ответ.

Ты ведь не сможешь не улыбнуться мне в ответ?

— А во-вторых... — я подойду к тебе, и возьму тебя на руки, и выйду с тобой на улицу, и пойду у всех на виду. А ты смущенно спрячешь свое лицо на моем плече, и твои волосы будут касаться моей щеки.

Я унесу тебя в тот скверик, где мы встретились впервые. Пошлые липы стали такими романтичными, с недавно выплывшимися листками.

— Хочешь, — спрошу я тебя, — я расскажу тебе сказку?

Ты ничего не ответишь, только молча кивнешь головой.

И я начну загадочным голосом:

— Когда-то, давным-давно, жил на свете волк...

— Злой и серый? — спросишь ты.

— Не перебивай, — я строго нахмурю брови. — Одинокий, злой и серый. Хотя он был не совсем волк. Он был царь. Звали его Соломон. Он бродил по свету и искал свое счастье. И вот однажды... — в этом месте я замолчу, и ты с любопытством ребенка заглянешь в мои глаза.

— Однажды он встретил маленькую девочку с большой собакой. У девочки была смешная челка, и девочка играла на скрипке.

— Как я?

— Как ты. И волк-царь понял, что погиб. Он полюбил эту маленькую девочку, хотя сам еще этого не понял...

Я не придумал, что расскажу дальше, потому что подошел к дому.

— Сезам, откройся! — попросил я лифт, и он, с готовностью шамкнув беззубыми челюстями, вознес меня на седьмой этаж.

В квартире было привычно тихо. Тебя не было. Не было ни малейшего намека на то, где бы ты могла быть.

Сначала я ждал тебя, стоя у окна и куря за сигаретой сигарету. Потом я пошел к твоей матери.

Ее крысиные глазки сузились, и она завершала что-то о моей безнравственности и твоей загубленной молодости. Мне показалось, что из-под халата выглядывает серый, длинный, голый хвост.

Я понял только одно — тебя не было в этом доме.

Всю ночь я метался по городу. Я нашел адреса твоих приятельниц, но они ничего не знали, пожимали плечами и недоумевали вместе со мной.

Утром я, злой и обеспокоенный, был у консерватории. Я ждал тебя, как волк в засаде ждет свою добычу. Я уже придумывал наказание. И в этот момент подошел автобус, и ты спорхнула на тротуар. Вслед за тобой спрыгнул парень лет семнадцати и сразу взял тебя за руку. Автобус, шипя, отъехал, выплонув только вас двоих.

Я не мог сдвинуться с места. Чутье подсказывало мне, что еще не время. Вы стояли, взявшись за руки, и ты что-то говорила, говорила ему, а он внимательно слушал, наклонив голову.

Короткая стрижка, юношеские прыщики на щеке, воротник рубашки смешно загнут за ворот. Ты не могла...

И в этот момент ты привстала на цыпочки и поправила ему воротничок жестом, каким мать поправляет одежду ребенка. Мельком обернувшись, ты скользнула по мне взглядом и не заметила.

Не заметила. Но я успел, уловил в твоих глазах нечто. И это нечто была НЕЖНОСТЬ. Ты смотрела на него с нежностью. Ладони мои свело судорогой, и пальцы скрючились, как звериные лапы. Я почувствовал, как в глазах моих загорается огонь и застилает весь мир красной пеленой.

Подошел другой автобус, и парень, небрежно поцеловав тебя, вскочил на подножку, махнув рукой. Ты стояла и смотрела вслед.

Пружинистой походкой, крадучись, я шел к тебе со спины, против ветра. Но ты услышала меня, наверное сердцем, и обернулась. Спокойно, даже с интересом, ты смотрела на меня. И не было в твоём взгляде ни страха, ни боли, ни равнодушия. Жизнь. Била ключом. Сияла из-под ресниц. Обычно бледные, щеки пылали, а из-под верхней губки, похожей на сочный лепесток пиона, хулиганисто выглядывал белый зубик.

— Ты!.. — я задыхался от ярости. — Ты! Быстро домой!

Молча помотала головой.

— Маленькая шлюха!

Звонко и весело хлопнула по твоей щеке моя лапа. По твоей маленькой розовой щечке.

И снова ты промолчала. Тогда я схватил тебя за руку и заорал, не обращая внимания на обалдевших прохожих:

— Пошли, дура! Дрянь этакая!

— Я не пойду.

Твой голос прошепестел тихо-тихо, но я услышал. Если бы ты заплакала или закричала. Если бы ты сопротивлялась и ругалась в ответ, мне стало бы легче.

Но ты повторила тихо и даже нежно:

— Я не пойду. Я насовсем.

И ты осторожно вытянула ладошку из моей руки, повернулась и ушла.

И не разверзлась твердь земная, не расколослось небо пополам, не грянул гром. Ты поднялась по ступеням и исчезла в брюхе огромного серого монстра, коим показалось мне здание консерватории.

Шестой месяц я нахожусь дома. То, что происходило со мной, с трудом можно описать.

Сначала я пил транквилизаторы и спал. Спал сутки напролет. Потом таблетки кончились, и я уничтожил остатки спиртного в доме. Твоего дога я выпнул за дверь в первый же вечер и был теперь совсем один. Никто не навещал меня. Холодильник был пуст, и я отключил его. Телевизор я разбил в припадке дикой ярости. Я плотно зашторил окна. Я рыскал по квартире кругами, и уже через месяц на ковре можно было различить белую тропинку моих следов, где ворс вытерся, рисуя магический круг.

Первые недели я разговаривал сам с собой. Потом замолчал. Я не хотел говорить. Щеки мои заросли щетиной, потом все лицо странно вытянулось, должно быть, от голо-

дания, и однажды, глянув случайно в зеркало, я равнодушно отметил, что стал похож на волка. Постепенно странная метаморфоза усиливалась. Пальцы, скрючившись, укоротились, ногтевые пластинки вытянулись, сузившись, и напоминали скорее когти.

И, наконец, однажды ночью я вышел на охоту. Зов крови был сильнее приобретенных в человеческом облике моральных навыков. Первой моей жертвой стала обыкновенная кошка. Мне жаль ее до сих пор. Как видите, я еще способен кого-то жалеть.

Опьянев от крови и непривычной сытости, я вернулся домой на четвереньках.

Затем я убил собаку. И однажды мне повезло поймать ворону со сломанным крылом.

Сначала я еще поднимался и старался передвигаться по-человечески, затем привык, что хожу на четырех... лапах.

Девочка моя! Где ты? Что с тобой? Ты помнишь, как я любил тебя? В этом моя беда. Я любил тебя, а ты нет. Ты была моей Суламифью, почему я не стал для тебя Соломоном? Почему я не сберег тот робкий огонек любви, который вспыхнул в твоём сердце изначально? Или прав Гессе? Во мне жил волк? Помните у Набокова? Бедный Губерт Губерт. Как я тебя понимаю. Моя маленькая Психея, ласточка моя. Лолита. Я стал волком. Теперь я понимаю, что был им всегда. По сути. Изнутри. По нутру. И звезды, чихая космической пылью, выхаркнули меня из недр Вселенной на Землю, и Вселенский разум, ибо я не верю во Всевышнего, вдохнул мою звериную суть в нелепую и жалкую человеческую оболочку.

Иногда мне кажется, что я нахожусь в огромной лаборатории в качестве подопытного зверя. И таким же зверьком была ты. И вот уже записаны результаты, подведены итоги. И скоро, очень скоро могучая рука приподнимет небо, как стеклянный колпак, и меня отпустят наконец из этой клетки, называемой жизнью.

Но время идет. И никакая рука не поднимет купола. И я живу волком.

Днем я обычно сплю, но с наступлением ночи просыпаюсь и подхожу к окну. Шторы чуть-чуть раздвинуты, и в узкую полосу ночного света заглядывает луна. И тогда я поднимаю голову и начинаю выть. Девочка моя! Где ты? Что с тобой?

Я чувствую, как поднимается шерсть на загривке, как напрягаются мускулы. Я вою, раздувая горло, запрокинув морду.

Я слышал как-то утром соседи ругались, что воеет собака. Возможно, скоро будет облава, и я, наконец, получу освобождение.

Но облавы все нет, и я вою на лунный свет.

Потом я смотрю на стену, где на белых листках бумаги, карандашом и углем — ТЫ: Вот ты с собакой, вот ты в проеме окна, вот ты, запутавшаяся в грифельных линиях, рождаешься из контура скрипки.

И тогда, когда тоска моя становится невыносимой, я выхожу на охоту. Лапой я открываю дверь и выхожу на ночные пустынные улицы.

Догадайся, на кого я охочусь, девочка моя?

Нет! Я не охочусь на юных девиц, выгуливающих мраморных догов. Я охочусь на крыс. Ты не представляешь, сколько их развелось на помойках.

Июнь 1996 г.  
Норильск.



## Юрий ГРАДИНАРОВ

Родился в Донбассе. На Таймыре с 1961 года.  
Автор сборников рассказов "Шаман Демниме",  
"Аргиш в Париж". Живет в Дудинке.

### ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Повесть

(Продолжение. Начало в альманахе "Полярное сияние" - 96)

Покинула Любочка Дунай с тяжелым осадком на душе. И места там красивые, и люди добрые, а в памяти застыли только зловещие плавни, нудный осенний дождь и нагло-ватая улыбка председателя колхоза. Ее никак не покидала мысль о содеянном. Она впервые изменила мужу. Изменила с расчетом, без любви и страсти. Даже выпила для смелости, затуманила голову коньяком. А теперь, оставшись одна в пригородном поезде, анализировала свой поступок. Уже исчезла из ее естества вдохновлявшая ранее поговорка "Семь бед — один ответ", но совершенное ею предательство не выходило из головы, вызывало в душе ощущение страшной вины, даже греховности. Казалось, что оно будет довлеть над ней до самой смерти немим укором ее совести и верности.

"Как мало надо, чтобы потерять совесть, переступить порог запретного. И как много надо, чтобы найти в себе силы устоять перед соблазнами, которыми нашпигована жизнь", — думала она, глядя в окно вагона...

...А за окном бежала другая жизнь. На полустанках люди торговали всякой всячиной, кто-то кого-то провожал, кто-то кого-то встречал, кто-то грустил, а кто-то веселился. В вагон входили пассажиры, искали свободные места, и никто не обращал внимания на одинокую женщину. Она же вглядывалась в их лица, пытаясь этим отвлечься от увязавшегося за ней страха (а вдруг узнает Николай). Не приносила облегчения и мысль о его измене. Она знала об этом не по слухам, видела наяву, когда, с мужем его любовницы, выдворяла ночью влюбленную пару из музыкальной школы, где Николай работал директором. Но больше никогда его не ревновала, не следила за ним, не искала его, даже когда он сутками не появлялся дома.

...За окном вагона уже смеркалось, сверкали молнии, и вскоре Любочка уловила шум дождя. Клонило ко сну, а в пригородном поезде — это не сон. Но она заставила себя вздремнуть, потому что в Одессе ей предстояло провести весь день на ногах. Московский поезд уходил поздно вечером, и ей хотелось еще раз побывать на Потемкинской лестнице, на Морском вокзале, пройтись по Дерibasовской. Она жалела о том, что больше никогда в жизни не придется снова увидеть Дунай, Одессу, высокое южное небо и услышать успокаивающий шум морского прибора...

...Она вздрагивала во сне, открывала глаза, скользила ими по вагону и опять пыталась уснуть. И так всю ночь. Из головы не уходила тяжесть, нет-нет да и покалывало сердце. В полудреме она пыталась мысленно вести диалог сама

с собой. "Наверное, предательство страшнее пьянства, а значит, я сквернее Николая, даже подлее. Но я подлее для себя, а не для него. Он меня вынудил пойти на подлость, изменить своим принципам, чтобы скрыть его позор. Его уберегла, а сама вляпалась. Словно в плавни попала. Чувствую себя как в болотном дерьме... Он никогда не узнает... А может, сорвусь да и выдам ему сполна за все свои унижения... А судить меня может только Бог да собственная совесть... Другим же людям это не понять..."

Она сердцем чувствовала, что ее грех будет с ней всю оставшуюся жизнь, что его не удастся вычеркнуть из сознания, как что-то пустячное и ничего не значащее...

Днем даже красоты Одессы, суетливость ее улиц и прохлада фонтанов не смогли отвлечь Любочку от гнетущих душу переживаний. Она, посетив свои любимые места, шла по незнакомой улочке, чтобы просто убить время. Донесся звон церковных колоколов. "Видно, к обедне приглашают", — подумала она, и словно что-то позвало ее на этот звук. Любочка покорно шла туда, откуда доносился зовущий и немного суетливый перезвон колоколов. Наконец, она увидела солнечные блики на золоченых куполах...

...Она перекрестилась и шагнула в полумрак, ощутив запах тающего стеарина. Народу в церкви было немного, и она, без суеты, поставила свечи за здоровье всех своих родных, за себя и Николая, прошептав: "Прости меня, Боже, грешную".

В церковь она ходила редко и не столько из-за веры, сколько из любопытства и желания хоть чуть-чуть отвлечься от жизненных невзгод и побыть в этом, Богом отведенном, месте, словно в чистилище. Выйдя из церкви, она почувствовала облегчение на душе, словно сам Господь Бог взял часть ее греха на себя.

Теперь она вспомнила, что с утра во рту — ни росинки. Она направилась на Дерibasовскую перекусить в кафе "Гамбринус", где когда-то любил пировать писатель Куприн. Пахло бочковым пивом, воблой и шашлыками. Стены внутри подвальчика были расписаны "под кирпич", а современные витражи излучали мягкий дневной свет. "А где же еврей-скрипач, любовно описанный Куприным в рассказе?" — вспомнила Любочка давно прочитанное и глазами искала столик, за которым любил сидеть писатель. Скрипача заменил еврей-официант, незаметно появившийся из подсобки, в красном пиджаке, с бабочкой, и с салфеткой на левой руке.

— Что желаете, мадам? Имеем овощной салат, шашлыки, воблу и, конечно, пиво.

— Все устроит. Вместо пива дайте чай с лимоном либо стаканчик морса.

— С чаем проблема, а морс — к вашим услугам.

— Если можно, клюквенный.

Ей захотелось пить, наконец-то, почувствовать вкус хорошей воды. После надоевшей, неделями отстаивающейся в бочках дунайской воды, стакан одесской показался ей божественным напитком. Она поблагодарила официанта и пока ожидала заказ, снова вспомнила родной дом. Захотелось увидеть своих детей, отца с матерью, мужа. Как они там сейчас? Видно, ждут не дождутся. Ведь полтора года со стариками не виделась! Опять к ним возвращаюсь. Уже десять лет кручусь вокруг них, как пчела вокруг улья. Только пчела мед приносит, а я старикам — одни заботы.

И стыдно ей бывает, и больно за свое неумение найти себя в этой жизни, где-то осесть надолго или навсегда, обрести все то, что может успокоить ее душу и души Антона, Аленки, мужа Николая...

...Через двое суток Любочка была уже дома. Она вышла из автобуса и оказалась словно в незнакомом городе. Микрорайон, где жили ее отец и мать, застроился новыми девятиэтажками, и она с трудом отыскала арочный переход, ведущий в родительский дом. А вот уже и знакомая ива, растущая у самого подъезда и словно кланяющаяся всем жильцам девятиэтажки. Любочка остановилась и посмотрела на окна седьмого этажа в надежде увидеть отца, любившего курить у окошка, потом поднялась на лифте, позвонила, но из квартиры никто не откликнулся.

— Вот-те раз, — в сердцах сказала Любочка. — Отец и мать на работе, а где же детки с папой?

А Николай сидел в дальнем углу двора, в тени кустарников, и рассказывал двум своим собутыльникам о жизни на Дунае. Антон с Аленкой копались на детской площадке в песке, соорудившая домик, и изредка обращались к отцу:

— Папа, похож домик на наш дунайский? Посмотри.

Тот нехотя похваливал детей, а сам продолжал:

— Мужики! Там “бормотухи” в каждом дворе навалом. И люди гостеприимные, угощают бесплатно. Пару кувшинов хряпнешь — и с копыт...

Они заворожено кивали головами, а их кадыки невольно двигались вниз-вверх, словно в горло лилось вино придунайских виноградников.

— Туда бы нам махнуть, — мечтательно шептал маленький худосочный Васек. — А то здесь без копейки лосьона не дадут, хоть помри с похмелья. И Васек, и небритый, с морщинистым лицом, Степан с завистью смотрели на Николая, побывавшего в таком раю.

— А что же ты, Никола, быстро слинял оттуда? — ехидно спросил Степан. — Ведь говорят: от добра добра не ищут. Жить в винном погребе да жаловаться — грех!

— Да я и не жалуюсь. Там все вино пьют вместо воды, как французы... В Дунае не вода — а муть... Но пьют от жажды, а не от жадности... Не как мы в России... Культурно, а не до поросычьего визгу... А я так не смог... Пить так пить... Думаю, надо тикать, а то сопьюсь... Да и этими спингрызами надо заниматься... Вон какие вымахали, — кивнул он на играющих детей.

— Значит, завязал? А мы-то тестя спрашивали, когда приедешь? Думали, гульнем по-нашенски, с куражом... А ты — никакой...

Николай лукавил. Выпить хотелось, как всегда, но страх снова уйти в запой сдерживал его. Не сегодня — завтра должна приехать Любочка.

— Не могу я сейчас, мужики... Пустой... Ни копейки за душой... Подгорел я там — вот и дал тягу... Даже трудовую оставил...

— А зачем она тебе? Мы их никогда не имели. На шабашке трудовые не спрашивают. А до пенсии мы не дотянем... Слишком долго до нее работать... Может, “по чуть-чуть” за встречу, Никола?

И Васек достал из кармана бутылку портвейна.

— Боюсь, Васек. Сегодня баба приезжает... Надо быть в форме. А то она меня за яйца подвесит вместе с трудовой вот на этой качеле... Понял?

Антон с Аленкой первыми увидели стоящую у подъезда мать и, оставив свои забавы, кинулись к ней наперегонки. Любочка присела, обхватила руками побежавших детей и прижала их головки к своим щекам.

— Ну как дела? А где папа?

— Хорошо дела. А папа вон.

И Антон показал рукой на спешащего к ним Николая. Он хоть и торопился, но шел без желания. Жалел о распавшейся мужской компании. Шел и удивлялся сам себе, как он сегодня устоял перед бутылкой портвейна. Его гнало на встречу с женой желание узнать судьбу своей трудовой книжки. Он по-прежнему беспокоился только о себе. Даже запои не умерили в нем педантичность в отношении к своей персоне. Николай въедливо вникал в оплату своих рабочих часов, фиксировал “трезвые дни”, вел на календаре учет Любочкиных “месячных”, искусно гримировал синяки и ссадины, полученные в пьяном угаре. А при “отходняке” носил темные очки, скрывая от посторонних потускневший цвет глаз. При очередном разводе составлял реестр на вещи, которые забирал, уходя к другой. Не забывал даже засохший грим, маленькое зеркальце и коробок спичек. Детдомовское прошлое наложило отпечаток на всю его жизнь. Даже в своей семье он чувствовал себя одиноким. Личные вещи хранил в своем детдомовском чемодане, никому не позволяя вторгаться в его “святая святых”. Недоверие к людям, вечное ощущение возможной кражи его вещей еще сильнее развили у него мнительность и подозрительность.

Николай подошел к Любочке, взял из ее рук сумку и спросил:

— Ну что, получилось?

— Получилось. Стыда столько пришлось перенести из-за тебя. Это в последний раз, понял? Накуролесишь — сам и выкручивайся!

Он шел молча и в душе радовался, что получил “чистую” трудовую...

...Вечером вся семья собралась за праздничным столом. Отец хитровато посматривал на Любочку, будто говорил: “А ведь я сильно по тебе соскучился”. А дочь, ощущая эти взгляды, снова чувствовала себя маленькой девочкой, похожей на свою Аленку, и радовалась доброму настроению отца. Мать же, поняв из разговора, почему молодые вернулись, заплакала и потеряла радостный настрой на весь вечер. Она сидела за столом, слушала рассказ Любочки о жизни на Дунае, молчала и только вздыхала от вновь навалившихся на нее горестей.

— Что ты, Анна Афанасьевна, загрустила? — спросил ее Дмитрий Семеныч. — Иль не рада дочери?

— Рада-то рада, — отвечала мать. — Да вот горе-то радость захлестывает. Опять Николай Васильевич обгадился. И сраму-то не имеет. Когда человек образумится?

А Николай Васильевич сидел и ждал, когда же тесть нальет ему рюмку.

— Отец, не вздумай ему налить. Он свое уже выпил. Да не только водки, но и кровушки у Любочки попил вдоволь и еще хочет. Когда же, Николай, все это кончится? — настойчиво спросила Анна Афанасьевна у зятя.

— И не надо, — в обиде ответил Николай. — Я перетерплю. Мне во дворе мужики предлагали “строить”... Я отказался. Попробую не пить, да и не на что...

— Свинья грязи найдет... Даже без денег... Вон сколько их ходит по городу с дрожащими руками, — не унималась мать.

— Ладно. Будет, мать, ругаться... Лечить его надо. Авось поможет... — сказал в защиту Николая отец.

— Да сколько можно лечить... Сам держаться не будет, то лечение — до одного места... Мертвому припарка, — с укоризной глядя на Николая, упрекнула Любочка.

— Хватит меня воспитывать... Только начну выходить из запоя, и начинается долбежка... Там жена клюет, а тут теща.

Николай достал "Беломор" и пошел курить на площадку. Назидательный разговор прервался. Мать грустно смотрела на Любочку, прокручивая мысленно всю ее жизнь: от рождения и до сегодняшнего дня. Хотела отыскать причину ее невезучей судьбы. Ей, как любой матери, казалось, что ее дочь заслуживает большей благосклонности у жизни. Даже потому, что ей приходилось до всего доходить своим умом, почти без родительских советов и поучений. А это не так просто: переезжать из города в город, оставлять один круг людей и вливаться в другой, наводить уют в квартире, а через год-другой тащиться со своим скарбом на новое место. А на новом месте всегда сложно: ведь многие по одежке встречают. Любочка же красотой не вышла да и сизмальства в роскоши не жила. А тут порок сердца стал о себе напоминать. Да такой, который не лечится. В их родове все им страдают. Больше семидесяти лет на свете не живут. Но Любочка не очень тревожится за свое здоровье. В работе забывает все болячки. Работать любит по-отцовски: с задором, умением и острым словом. Да и бедовость у нее не отнимешь. А это в жизни не так уж и мало. Вот удачливостью она обделена, будто порчу кто напустил. Надо будет или к бабке сходить или в церкви помолиться, вдруг избавят ее от напасти.

Николай снова сел за стол, а мать, глядя на него, подумала: "А может, никакая не порча. Может, Николай всю жизнь ей поломал... Рано она за него вышла... Ничего еще в жизни не видела... А вот теперь валятся все беды на нее... Бросать его надо... Хоть и жалко ей его..."

Анна Афанасьевна подала на стол горячее, позже налила чаю и все пыталась мысленно выискать причины Любочкиных несчастий.

"Может быть, мы — непутевые родители, не смогли дать всего детям? Хотя старались, как могли. Всех, вроде, на ноги поставили. Люся пединститут закончила, преподает в Сибири, Зина — библиотечный техникум, Любочка — училище, а Гришка — военный летчик. Со всеми хватает хлопот и мне, и отцу. Гриша в жены взял свою одноклассницу: сельская, но с характером. Да и чувствуется, что уже надоели друг другу. Ссорятся, но живут. Зина недавно вышла замуж, родила сына, живут теперь в малосемейке. Вечно не хватает денег. Ее муж, Виктор, крепко держит Зину в руках, сам крутится сутками неизвестно где (говорит, на шабашках), но деньги по-прежнему занимает у тещи. А у Любочки главная беда — пьянство мужа... Сейчас бы только жить нам с отцом, подбираясь к пенсии, внучатам радоваться да детей в гости ждать. Ан нет! Не дает нам судьба спокойной жизни. Забыла, что мы и на фронте, да и после войны вдвоём намаялись. Нет-нет, да и расстроится и так уже хлипкое здоровье, то взбудоражат душу детки... Одним словом, покоя так и нет. Переживаем мы с отцом, трево-

жимся, просим господ Бога уберечь нас и наших чад от житейских невзгод".

Размышления Анны Афанасьевны прервало появление Зины с черноусым поджарым Виктором и толстошеким Данилкой. Расцеловались они с Любочкой.

— А ну-ка, сестрица, покажи мне племянничка. Дай-ка я его потискаю... Ох-хо-хо-хо, тяжеленький мужичок, — приговаривала Любочка, подбрасывая руками вверх сбитое тельце Данилки. — Дядя Коля, иди-ка посмотри на племянша, пока трезвый.

Николай без особого интереса взглянул на Данилку и, отдавая дань учтивости, сказал:

— Да на Зину он похож. Глаза и губы — копия Зининых.

— А меня что там и нет? — спросил Виктор у Николая.

— Ну как! Есть там и ты. Только ниже пояса, — ответил Николай.

А сестры уже разглядывали друг друга.

— Зин, ты вроде похудела.

— Да чуть-чуть есть. На диете сижу, а то после Данилки меня прилично разнесло. Некоторые худеют после родов, а я наоборот.

— Не похудела, а похорошела. Да, Зинок, — вмешался в их разговор Виктор, слегка поглаживая жену по спине, — и все от хреновой жизни.

— Люб, а тебе юг не пошел на пользу. Наверное, сердце болело? — спросила Зина.

— Да. Поначалу тяжеловато было, а потом привыкла. Климат там терпимый, можно жить. Да вот Николай вымотал душу. Ему ни север, ни юг — не помеха. Везде водку жрет без продыху... Ума не приложу, что с ним делать...

Зина глядела в глаза сестры и видела в них налет печали вместо привычной бедовости. Ей стало жаль, но посоветовать что-либо, как женщина женщине, она не могла. Ее семейный стаж перевалил лишь за два года.

Зина была смуглолицая, с большими черными глазами, обличьем похожая на певицу Ольгу Воронец. Спокойная, медлительная, с тихим вкрадчивым голосом, она обладала броской красотой, которая надолго оставалась в глазах видевших ее мужчин. Родившаяся в Казахстане, она впитала в себя энергию южного солнца, гибкость виноградной лозы, а подрастая, уже в средней полосе России, обрела спокойный, без тени тревог, характер, томный беззащитный взгляд и мечту, не выходящую за пределы ее спальни.

Она закончила техникум и, работая уже в библиотеке, была под постоянным вниманием читателей-мужчин. Быть была, но любовных отношений так и не возникало. Все глохло на уровне взаимных симпатий. Шло время. Зина точно знала, что у нее должно появиться то, чего она не испытывала до сих пор сама, но читала об этом в книгах. Ее бывшие одноклассницы и сокурсницы, вовсе не красавицы, а просто смазливые девчонки, выходили одна за другой замуж. Зину приглашали на свадьбы, где она своей красотой затмевала невест, но время ее замужества еще не подошло.

Мать и отец давали ей свободу, говорили, чтобы она съездила отдохнуть на море, в турпоездки, авось где-то и встретит свою судьбу. Зина неохотно откликалась на их советы, хотя побывала и в Севастополе, и в Питере, и в Москве. Правда, возвращалась всегда одна, со свежими впечатлениями, но с неудовлетворенностью в глазах, вместо исчезнувшей темноты. Она ударились в гороскопы, опреде-

ляла, кто ей подходит, — Рак или Водолей, — и при случайных знакомствах бравировала знанием характеров мужчин.

Но наскучили ей гороскопы, когда в соседнем подъезде появился Виктор Скворцов, приехавший на побывку из армии. Высокий, кареглазый, резкий в движениях, с искрой юмора в глазах, Виктор зацепил ее внимание. Зацепил сейчас — не раньше. Он был младше на два класса. Ходили в одну школу, играли в одном дворе, когда родители Зины вернулись из Казахстана в Старый Оскол. По окончании восьмилетки их пути разошлись. А теперь, оценив друг друга взрослым взглядом, она нашла в нем, а он в ней привлекательные мазки красоты, ореол мужественности и проступающее наружу обаяние женственности.

...У Виктора мать умерла рано. Отец, Петр Демидович, приземистый мужик, с мускулистыми руками плотника, помытарился два года и привел в семью женщину. Даже спросил совета у Виктора, на всякий случай. Тот его просил: «Папа, не бери тетку. Два года вдвоем справлялись и еще справимся». Но отец был неумолим. Сила еще не выветрилась из его плотницкого тела, и ему нужна была женщина да еще и хозяйка.

— Успокойся, Витек! Женщина в нашем деле холостячком не помеха, а помощь. Может, мать-покойницу замени. И привыкнем к ней мы с тобой. В жизни много таких случаев встречал... Может, и нам повезет...

...Через день в доме появилась Евдокия Сергеевна, на голову выше отца, большеглазая да статная. Ей было уже под тридцать. Трое мужчин, с которыми, в общей сложности, она прожила семь лет, простились с ней из-за жесткости характера, торгашеской напористости и способности всегда чувствовать себя хозяйкой положения. Детей у нее отродясь не было, а материнский инстинкт был приглушен так и не сложившейся судьбой. Евдокия Сергеевна не утруждала себя семейными заботами и считала вольной птицей, способной улететь из старого гнезда к вновь подвернувшемуся самцу. Отец был доволен, что она пришла в его семью. Он старался ей угождать во всем, позволял приходить домой и уходить из дому, когда она считала нужным. Меньше стал пить на работе, зато дома редкий вечер обходился без выпивки. И отец, и мачеха нередко забывали, что у них есть Виктор. Правда, отец, приходя с работы, иногда спрашивал Евдокию Сергеевну:

— Ты Витьку-то кормила?

— А как же. Он у меня сыт. Уроки делает.

— Врешь ты, Евдокия! Не в жилу тебе мой сорванец. Не любишь ты его... Я думал, что станешь ему матерью, а мне — женой...

Он не раз пытался урезонить свою сожительницу, стучал кулаком об стол и кричал:

— Сына моего не обидь! Замечу — выгоню!

Однажды, когда Петр Демидович с тяжелой головой собирался на работу, она сказала:

— Вот что, дорогой! Командовать здесь буду я! Ты меня упрашивал перейти к тебе. Где еще найдешь такую дуру, которая бы пошла в семью на чужих детей? Сейчас таких нет. Так что выбирай! Я или сын!

И начала собирать свои пожитки, в душе жалея, что придется оставить трехкомнатную квартиру Петра Демидовича, на которую она имела виды. Уговорил ее остаться сникший с досады Витькин отец, сказав, что любит ее больше сына.

— Ты, Евдокия, присмотрись к Витьке. Чужая ты ему, понимаешь? У него ведь родная мать, как и у меня жена, с головы еще не вышла. Мне тяжело, а каково ему — мальцу... Ты, Дуся, старайся с ним повнимательней... Он парень смысленный... Может, со временем притреться друг к другу... Да и я что-то отбилась от рук... Не до сына...

— Меньше в бутылку заглядывай, Петр, а больше на сына. А то обозлишь его своей пьянкой, что и отцом тебя перестанет считать... Ты ему родной — вот и воспитывай.

И Виктор рос сам по себе, торопился стать взрослым, чтобы быстрее покинуть неуютный отчий дом. Учился неплохо, в своей комнате поддерживал порядок и к восьмому классу уже знал, почем фунт лиха. Мать унесла с собой его любовь, а взаимопонимания между ним и отцом никогда не было. Смерть матери не вызвала этой взаимности, не сблизила их, а скорее разъединила, особенно когда в доме появилась мачеха. Витька для себя сделал вывод: «Теперь я на свете один. Надеяться не на кого, кроме как на самого себя. От отца у меня только отчество».

А отец и мачеха только и ждали момента, когда Витька закончит восьмилетку, чтобы отправить его учиться в город Губкин. Евдокии Сергеевне хотелось пожить с отцом, расписаться, занять право на жилплощадь. Чувствовать себя в доме полноправной хозяйкой: ходить под хмельком по квартире в чем мать родила, рассматривать в зеркале свою фигуру и выжимать из пьяного сожителя остатки его мужской силы, не прислушиваясь, спит или не спит Витька...

А Виктор, окончив автодорожный техникум, немного поработал в автобазе и попал служить на Север, на далекую Колу. Их авторота стояла в тундре, километрах в сорока от Североморска, и перевозила по зимнику грузы пограничным заставам. Служил он исправно и вскоре был назначен командиром отделения. Неделями не покидал кабину «Урала», колеся по тундре в морозы и пургу. А это не староскольский асфальт с дорожными знаками да указателями, с редкими заносами да гололедом! В тундре по целику снег до двух метров доходит, сотни застывших озер под снегом, зимняя темень и днем, и ночью.

Виктор быстро освоился на снежных трассах Кольского полуострова. Все задания командования выполнял в срок и с минимальным расходом горючего. Командир роты заметил сметливого трудолюбивого сержанта, и через год, когда старшина уходил на пенсию, на его место был назначен Виктор Скворцов из срочнотрудовых. Виктор для солидности отрастил усы «под песняров», сделал из плексигласа вставки в погоны, добыл хромачи и стал похож на старослужащего солдата, прошедшего «Крым, Рим и медные трубы».

А старшина роты — это доверенное лицо командира, его глаза и уши. Он ведь круглые сутки с солдатами, ест одну кашу с подчиненными и дышит с ними одним воздухом! Вот только обязанностей у него хоть отбавляй: надо следить за порядком в роте, организовать помывку личного состава и смену белья, выдать спецодежду для рейсовиков, обеспечить работу столовой, провести утренний подъем и вечерний отбой, расставить людей так, чтобы постоянно поддерживать боеготовность роты. Виктор, со своими упорством, ответственностью и даже упрямством, везде успевал и был в фаворе у начальства.

Но должность старшины-срочника и льготная. Тут и получка побольше, чем у рядовых, и мундир всегда «с иго-

лочки", и отпуск чаще, чем у других, и лучший кусок мяса в столовой. Виктор это понимал и старался доказать, что он справляется с работой не хуже прежнего старшины. Ему начали лстыть сослуживцы, поскольку старшина может облегчить тяготы службы, дав увольнение в Североморск, или, наоборот, наряд объявить позакovskyристей, чтобы служба не казалась малиной.

Одним словом, Виктор мужал, набирался не только солдатской мудрости, но и офицерской прямолинейности "двигаться в жизни только по звездам", а прямолинейность — мать упрямства. Упрется старшина на своем — его ничем не сдвинешь, не переубедишь, даже если его логика абсурдна. Он всегда прав, потому что старшина, потому что ты, рядовой, зависишь от него. Армейская должность все сильнее коверкала его характер, выхолащивала природную рассудительность и порядочность. У него была опора на старослужащих, которых он негласно освободил от бытовых нарядов, от уборки казармы, от утренней гимнастики.

— Отдыхайте, ребята! Вы свое отдали армии. Пусть молодые вкалывают, а вам надо на "гражданку" прийти бодрыми. Там забот хватит! — говорил им не раз Виктор, подчеркивая свое к ним расположение. — Только не бухайте почем зря и меня поддерживайте. И все будет в ажуре...

И старослужащие платили старшине своей преданностью, затыкали рты молодым, если те пытались "качать права".

Виктор уже не раз подумывал об офицерской карьере, считая, что он на военной службе, как рыба в воде. И хотел было подать рапорт о направлении его в военное училище, как случилось ЧП.

...Однажды пять "Уралов" шли очередным рейсом на дальнюю заставу. Виктор решил "тряхнуть стариной" и возглавил колонну сам, обещая командиру роты обкрутиться за сутки.

Пройдя километров пятнадцать по накатанному зимнику, Виктор задумал сократить путь, направив колонну в обход трассы по заметенной снегом тундре. Остановились у поворота, перекурили, и он сказал водителям:

— Ребята, а сейчас рванем напрямую. Новичков среди нас нет. Все не раз ходили по целяку. Тяжко будет и нам за рулем, и двигателям. Рискнем!

— Машины гробить не хочется. Снегу в тундре по горло. Да и озер не миновать... Не дай бог туда нырнуть, — убеждал механик Виктора.

— Раньше же ходили — и ничего. Вот только лед еще не совсем заматерел, да, может, проскочим!

Как ни уговаривал его сержант-механик отказаться от этой затеи, Виктор упрямялся, задавая раз за разом тому вопрос:

— Кто здесь командир? Я или ты?

— Ну смотри, командир! Подзалетим — я снимаю с себя ответственность. Чует мое сердце: что-то случится.

— Иди ты к такой матери!.. Трус несчастный! — запальчиво крикнул Виктор и тут же добавил. — По машинам!

Машины шли цепочкой, растянувшись примерно на километр. Шли тяжело, буксовали, поднимая снежную пыль. Над тундрой плыл натужный гул уставших моторов. Шоферы сменяли друг друга каждые двести — триста метров, материли за глаза старшину за его тупое упрямство. А Виктор, сменивший за рулем своего напарника, выжимал из машины все, что мог, кидал ее то вправо, то влево, сдвигал назад и снова таранил снежную стену. Колеса его "Урала" увязали в снегу, крошили в щепки ветки тальника, оставляя после себя глубокие снежные траншеи для прохода остальных машин...

...За два часа прошли только пять километров. Витька начинал понимать, что его затея проваливается, путь к заставе удлинится и во времени, и в километрах. Люди устали от напряжения, а преодолели лишь треть пути. Он подумывал о том, чтобы развернуть автоколонну и выйти снова на накатанный зимник. Но думал об этом, а делал все наоборот. Не в его правилах было признать свою ошибку. Он очень пекся о своем авторитете, поддерживал его даже за счет безрассудных решений, чтобы слыть среди подчиненных лихим рискованным командиром. А его "Урал" захлебывался, содрогался всем своим мощным телом, отравляя гарью девственный воздух тундры...

...Вдруг Виктор почувствовал, что машина забуксовала и ее потянуло назад и вниз, поднимая передние колеса над снежным заносом.

— Озеро! — крикнул Витька напарнику. — Прыгай! — И сам стремглав вылетел из кабины, нырнув в глубокий снег. Он, да и его напарник, еще ничего толком не понимая, инстинктивно отползли подальше от зависшей над водой машины. Они услышали, как в разлом льда падали ящики с продуктами, а через несколько секунд в том месте, где зависла незаглохшая машина, они увидели покрытую мазутными пятнами и ледяным крошевом полынью.

Витьку бил судорожный озноб. Страх перед наказанием за ушедший на дно автомобиль сковывал его тело, не давал возможности выбраться из глубокой снежной ямы. Только через несколько минут и к нему, и к напарнику пришло ощущение промелькнувшей рядом смерти. Замешкайся они на одну-две секунды, и озеро поглотило бы их вместе с машиной. Виктор и напарник увидели, как к ним, увязая в глубоком снегу, спешили солдаты.

Витька стоял белый, как снег, и лихорадочно соображал, что за потерю машины его будут судить. К чертовой матери летели его старшинство, льготы, которыми он пользовался в автороте, и будущая офицерская карьера.

Первым к нему подошел механик и со злостью сказал:

— Вот, Витек, твое упрямство, твое яканье. Такому технику угробил... Хорошо, что боеприпасы не ушли под воду... Да и сам мог накрыться женским половым органом... Это же ЧП для роты...

Витька ничего не ответил механику, лишь жадно затащил папиросой.

— Да брось ты эти нотации! Не сейчас! Они от страха ничего не соображают. Слава богу, что живы, — укоризненно посмотрел на механика подошедший помкомвзвода Мартынов из старослужащих.

— Рапорт придется писать. Я отвечаю за технику. Меня будут таскать по всем инстанциям.

Не зря Виктор взял в рейс всех "стариков", изъездивших Кольскую тундру вдоль и поперек. Теперь наступило время им оказать старшине услугу: выручить его в беде.

— "Старики"! — обратился к ним Мартынов. — Мы с вами сами вызвались в рейс. Теперь влипли с машиной. А это ЧП! За это по головке не погладят... Надо выгородить старшину. А ЧП — случай... Была пурга... сбились с пути. Машину вытащим в светлую пору...

...И Виктор уцелел. “Старики” защитили его от опалы, смогли сохранить на должности. Командир роты замял ЧП, потому что сам ожидал аттестацию на очередное воинское звание. Машину из озера вытащили, а Виктор за это еще и отпуск получил.

...Десять дней отпуска пролетели, как один день. Виктор почти не общался с отцом и мачехой, а сутками пропадал у Зины, ходил с ней на работу, в кино, поддерживая огонек внезапно вспыхнувшей любви. Правда, отцу Зины не нравилось его бахвальство и самоуверенность, хотя бывший военный водитель понял, что парень знает машину, как свои пять пальцев. А это уже немало для парня в двадцать лет! Да и диплом техника-механика не зря имеет!

И Семеныч, и Афанасьевна радовались за Зину: “лед тронулся”, и их засидевшаяся в девках дочь воспрянула духом, обрела уверенность в себе.

Виктор уехал снова служить. Письма приходили каждую неделю, и Зина читала их подругам в библиотеке, а те пытались между строк понять, где он искренен, а где болтает.

Зина спорила с ними, доказывала им, что Виктор — единственный мужчина, созданный для нее, и она от него не отступит, добьется его любви во что бы то ни стало. И когда в декабре он позвал ее к себе на Колу, Зина, не долго думая, взяла отпуск и покатила в Североморск.

Пожила она с Виктором неделю в квартире знакомого холостяка-сверхсрочника, забыв о наказе матери не своевольничать.

— Смотри, дочь, чтобы в подоле не принесла, а то ославишь на весь город. Только после того, как распишетесь, поняла?

— Поняла! Не мешай мне, мама, решать мои проблемы! Что я ребенок? Хватит мне диктовать!

— Вот как ты заговорила! Уже шлея под хвост попала? А если он бросит тебя... Поиграет да передумает... Молодой еще... Горячий... Не видишь, как Любочка мается с алкашом.

— Не переживай, мама! Ты же письма читала... Считай без матери рос... Парень самостоятельный... Любит он меня... А то, что моложе на два года... Может, покладистей будет...

...И мать отступилась. Отец же не вмешивался в их дела. “Им, женщинам, виднее, как себя вести в деликатных случаях, — думал Семеныч, — пусть сами и ищут выход”. Но когда через месяц после возвращения Зину начало тошнить, отец понял, что надо ждать внука. Семеныч видел, как переживает дочь, как мечется по квартире. Однажды вечером, когда Зина пришла с работы, он подошел к ней и сказал:

— Ничего, дочь, рожай! Бог на земле всем место оставил. Как-нибудь выдюжим.

Он даже не спросил, а что же думает будущий папаша Виктор, сложится ли их семья и нужна ли ей была поездка на Север. Он не хотел укорять дочь за ее “самоотдачу” Виктору, но в душе сильно переживал за будущее Зины. Правда, его радовало, что у дочери растет интерес к жизни, что поездка к Виктору вытаскила ее из круга мнимой обреченности остаться в девках...

Пока Виктор служил в армии, ни Семеныч, ни Анна Афанасьевна особо не контактировали с его отцом Петром Демидовичем. Встретятся случайно во дворе, кивнут друг дру-

гу, “здравствуй”, и разойдутся каждый по своим подъездам. Но когда Виктор написал отцу, что дела у них с Зиной идут на лад и после армии он собирается на ней жениться, у того возникло желание поближе познакомиться с вероятными сватами... Петр Демидович как-то дважды заходил к Семенычу, вроде бы за резиновым клеем. Посидели, покурили, поллитровку раздавили, о жизни посудачили, кидая друг другу намеки о предстоящем родстве. Семеныч хитро прищурил глаза, как цыган на торге, и сказал:

— Прислал твой сынок письмо... Просит мою дочь в жены... Осенью придет из армии — пусть решают... Пусть кумекают. Я в их дела особо не вмешиваюсь... Нравятся друг другу — пусть сходятся... А наше дело им помочь стать на ноги.

— Помочь, Семеныч, дело нехитрое. Было бы чем... У меня баба вторая. Невзлюбила она Витьку... Ела поедом, когда был рядом... Одним словом, мачеха... А он, слава богу, не озлобился...

— Значит, самостоятельный мужик, коль обиды долго не держит... Она-то ладно, так уж в жизни повелось... Мачехи добрыми не бывают... А ты-то родной... Помочь надо... Да и внучок — парень что надо!..

— Грех у меня на душе... Я, вроде бы, согласился с ней, чтобы ревности с ее стороны не было... Отошел я от него, сделал его совсем одиноким... Казню себя с тех пор... Водка да баба взамен родного сына пришли...

Семеныч угостил его “Беломором”. Курили неспеша, изредка перебрасываясь короткими фразами.

— Ты слезу-то не гони, Петр, — запротестовал Семеныч, видя, как наполняется влагой морщинка на щеке. — Себе-то нашел подругу, а Витьке мать — нет. Придет из армии — по-другому встречай... Снова отцом стань... Авось, все наладится...

— Попробую. Может, еще сгожусь ему на старости... А слезы — это водка плачет... Как выпью, так и гонит слезу... Жизнь-то моя не получилась... Горько сознавать все это...

Семеныч плеснул по полстакана и сказал:

— Ну, давай, Петро, за знакомство да за лад у молодых, если сойдутся.

Они чокнулись стаканами и мигом опрокинули их содержимое по назначению.

— Дай бог не последнюю за лад, да за родившегося внука, — проронил отец Виктора.

И они, чуть хмельные, встали из-за стола и вышли покурить на свежем воздухе...

...Виктор, демобилизовавшись, вернулся домой. Оставив солдатский чемоданчик, он первым делом побежал в больницу, где лежала Зина с простудившимся сыном.

Отец Виктора, несмотря на нежелание мачехи (я еще сама хочу с тобой регулярно), все же убедил ее, что молодым надо жить у них, как и договорились с Семенычем.

— Витька тоже имеет право на жилплощадь. Может, придется разменяться, а может, что-нибудь другое подвернется... Пойдет работать... Парень он пробивной, может, хоть малосемейку получит.

— Ну смотри! Появится в доме невестка, может, и я не нужна стану. Я тебе ни то, ни се... Сожительница... Пока кормлю да обстирываю... А потом и побоку можно...

— Да перестань ты... Поубавь свои претензии. Восемь лет живем, а ты все боишься, что тебя выгонят...

А сыну по приезде он сказал:

— Жить будете здесь... Может, притремся семья к семье... А нет — так вместе будем выход искать...

На службе Виктор словно забыл все придирки мачехи и, встретив ее у порога квартиры, кинулся к ней на шею, как к родной. Ему очень хотелось материнского тепла после двухгодичной мужской компании, пусть не родную, но мать. Он долго вынашивал в душе желание назвать ее мамой, но его постоянно сдерживала память о покойной матери. Он не раз отказывался от этой мысли, потом снова возвращался к ней, ломал в себе устоявшееся понятие, что мачеха никогда не заменит родную мать. И вот при встрече у него вырвалось наружу:

— Здравствуй, мама!

Евдокия Сергеевна на миг замерла от этих слов. Ей не верилось, что он ее назвал мамой. А Виктор целовал ее то в одну, то в другую щеку, уже не как мачеху, а как мать.

Евдокия Сергеевна, женщина еще в соку, ощущая на щеках ладно прижатые губы Виктора, встрепенулась и почувствовала в теле легкий озноб, потом, будто опомнившись, бережно отклонила от себя гостя и посмотрела на стоящего в прихожей отца. Отец стоял и улыбался, видя такую сердечную встречу сына с его сожительницей.

— Да ты уже не Витька, а Виктор, — сказала она, оглядывая окрепшего и возмужавшего старшину. — Армия пошла тебе на пользу. А про себя подумала: "Что-то в нем появилось новое, притягательное. И чувствую я себя перед ним, как лягушка перед удавом. Пытаюсь сохранить прежнюю неприязнь, а не могу. Обезоружил он меня и видом, и взглядом, и этим словом "мама".

За праздничным столом царили радость и благодушие. Пили без тостов, но с аппетитом. Виктор рассказывал о своей службе, как скучал по дому, по Зине и по сыну.

Захмелевший отец, похлопывая Виктора по плечу, предложил выпить за здоровье внука.

— Внушек-то на деда похож — значит наш род продолжается, — бормотал, почмокивая погасшей папиросой, отец, засыпая в кресле.

— Вот так всегда, Витек! Напьется и спит в кресле до утра. Хоть стреляй — не разбудишь, — доверительно шептала Евдокия Сергеевна.

Шептала, нежно щекая губами ухо. Потом обняла Виктора за шею, скользнула губами по щеке и впилась ими в его полуоткрытый рот...

...Через несколько минут они уже были в спальне. Он увидел, как с ее лица слетела хмельная пелена, взгляд прояснился, и она улыбнулась свежо и радостно, глядя в удивленные глаза парня.

— Успокойся, Витенька, и прости. Не осуждай меня, понял? Я хочу тебя... Мы разной крови... Отец твой ослаб... Водка загасила его способности... Искать на стороне — уже старая... Да и отца жалко... Вот и мучаюсь...

Теперь Виктор понял, что ей от него нужно. Он хотел улизнуть из спальни, но Евдокия Сергеевна ловко щелкнула ключом и выключила ночник. В окно заглянул мягкий свет уличного фонаря. Виктор выжидал. Он впервые в жизни попал в такой переплет и не знал, как себя вести дальше.

"Сама она меня не выпустит отсюда. Забрать ключ силой — не по-мужски. Станет обзывать меня сопливом и трусом" — лихорадочно анализировал он, глядя сквозь полумрак на раздевающуюся Евдокию Сергеевну. Ему было

не по себе. Он чертыхнулся и зло опустил голову, чтобы не видеть ее бесстыдства.

— Голову подними, сынок! Посмотри на меня! Не каждую ночь перед тобой раздеваются женщины. Ведь, кроме Зинки, никого больше не видел.

Виктор молчал и вдыхал дурманящий запах женского тела, слышал шелчок расстегнутого бюстгалтера и шлепок ее выпавших грудей. Она подошла к Виктору, обняла его за шею и прижала голову к своей груди.

— Почувствуй меня, слышишь... Да не стесняйся... Возьми сосок... Ты же хочешь...

И она подвела его губы к соску, подвела, задрожав от прилива сладкой истомы. Виктор покорно выполнял все ее просьбы, а она медленно расстегивала пуговицы на его гимнастерке...

Секунды в его сознании боролись совесть с бессовестностью, стыд с бесстыдством, любовь к Зине с нелюбовью к этой женщине. Пересилили страсть и мальчишеский интерес к женскому телу... И Виктор, обуреваемый сильным желанием, жадно кинулся в ее объятия.

...Через неделю Зина с сыном вышла из больницы. Вечером Виктор пригласил в гости ее отца и мать, чтобы сваты договорились об их дальнейшей жизни.

Евдокия Сергеевна "при параде" встречала гостей, наведя на лицо маску доброты и гостеприимства. Отец Виктора, как всегда, был под хмельком, суетился, переминаясь с ноги на ногу, и не знал, что делать. Волновался он, конечно, не хотел ударить в грязь лицом ни перед сватами, ни перед будущей невесткой. Ему хотелось казаться домовитым хозяином, и он стоял, приговаривая:

— Проходите, гости дорогие, посмотрите, как мы живем.

— Ничего, ничего, Петр! Еще успеем посмотреть твои хоромы, — ответил Семеныч, пожимая руку хозяйке и хозяину.

А Виктор с Зиной юркнули в свою комнату распеленать ребенка.

— Вот тут, Зинуля, и будем мы с тобой жить.

Он поцеловал ее крепко в губы и показал на кровать.

— Мягкая и не скрипучая, чтобы Данилку не будить.

Зина, распеленав ребенка, стала кормить его грудью и только сейчас повела глазами по комнате. На стене она увидела матерчатый коврик, сделанный трафаретом, где красовались причудливые горы, чистенький домик в тени разлапистых деревьев.

— Вить, когда у нас появится вот такой домик? Наверное, никогда.

— Может, не домик, а квартира... Пойду работать на комбинат и получу... Людям же дают...

В дверь постучали.

— Молодежь, прошу к столу, — пропела Евдокия Сергеевна, глядя масляными глазами на Виктора. — Еще успеете наmilоваться. Давай, Зина, мне внучка.

— Потом, — прошептала Зина. — Сейчас он покушает и уснет.

Зина уложила сына спать, а сама, глядя в зеркало, застегнула распахнутую грудь, поправила прическу, пригладила густые черные брови и спросила Виктора:

— Ну как? Нравлюсь?

— Очень! Я бы и не ужинал. Соскучился по тебе страшно.

— Потерпи! Больше ждал, чем осталось.

Зина говорила “потерпи”, а сама испытывала не меньшее желание, чем Виктор.

Сколько раз после родов Виктор приходил ей во сне, и она заставляла себя проснуться, чтобы убедиться, явь это или сон. Потом всматривалась в розовое личико Данилки, ища там дорогие ей Витькины черты. И находила или фантазировала, что прямой носик — Витькин, карие глазки — тоже его, а овал лица и губки, пожалуй, ее. Она целовала маленькое спящее существо в губки, щечки, ушки и ощущала еще не совсем понятный инстинкт материнства, проявляющийся сильнее и сильнее с каждым днем во всем ее женском естестве...

...За столом шла обстоятельная беседа... Думали-гадали, нужна ли свадьба, сколько на нее уйдет денег и решили, что лучше молодым купить холодильник и стиральную машину.

— Ведь в хозяйстве хорошая техника — не последнее дело, — сделал вывод Семеныч. — Да и Виктору надо купить зимнюю одежду...

Евдокия Сергеевна челноком шныряла от стола на кухню да обратно, подсаживалась к очередному тосту и раз за разом твердила:

— Кушайте, дорогие сваты! Чем богаты — тем и рады!

Виктор изредка бросал взгляд на Евдокию Сергеевну, отмечая, что ее раскрасневшееся от волнения и выпитой водки лицо было красивей, чем всегда, а наигранная доброта придавала ему миловидность.

“Артистка, — думал про себя Виктор. — Ведь может же быть милой и доброй. Всегда бы так! Какая невозмутимость на лице! Отцу изменила, и ноль эмоций... А может привыкла блудить, и не я — первый... Да и я подлючий... Собственному отцу в карман наложил... А Зина? Сидит и не знает, что я, не успев жениться, уже изменил ей... Отцу я восемь лет назад говорил: не бери ее... Она мне матерью не станет... Теперь же я влип, попал как кур в ошип... Она от меня не отстанет, пока не засекут отец или Зина... Вот тебе и мама...”

Виктор, чокаясь со своими будущими тестем и тещей, подмигивал непьющей Зине и, как только Евдокия Сергеевна уходила на кухню, успевал поцеловать в щечку невесту и погладить ее черные, как смоль, густые волосы. Он, еще не женившись, оказался виноватым перед Зиной. Боялся, что женская интуиция поможет ей раскрыть тайну той злополучной ночи. А к Евдокии Сергеевне он стал относиться с вновь появившейся скрытой ненавистью, хотя не перечил ей, не грубил, но душой чувствовал, что она не желает ни ему, ни Зине счастья. Он теперь стыдился не только отца и *Зины*, но и самого себя. Клялся сам себе, что больше такое не повторится, и не верил своей клятве. Он боялся, что снова не устоит перед напором этой женщины.

А одураченный отец, с осоловевшими от водки глазами, сидел за столом, похлопывая свата по плечу, и говорил трезвые мысли:

— Я думаю, что наши дети нашли друг друга... И мы с вами породичаемся... Мы люди простые... Им бы только было хорошо...

...Так Зина сошлась с Виктором. Год пожил у его отца, а потом получили малосемейку в старом городе. Гостевали у стариков Зины нечасто, иногда оставляли Данилку для

присмотра, да навешали их, когда кто-то приезжал из родственников.

...Вот и сейчас они пришли увидеться с семьей Любочки. Отец с матерью предлагали Любочке и Николаю пожить у них, благо, места в квартире хватит, осмотреться, работу подыскать, а там видно будет. Но Любочка, как могла, отказывалась от родительского угла. Она не хотела снова удручать их своими семейными неурядицами, тянуть из них последнюю копейку и постоянно ощущать упреки матери из-за непутевого Николая... Так толком и не договорились...

...А через неделю позвонила Люся, узнала об их житье-бытье, пообещала “подсуетиться” и вскоре прислала телеграмму: “Приезжайте работа будет жить общежитии”.

Любочка, получив контейнер, переадресовала его в Кемерово и настроилась на отъезд. Отец был родом оттуда, и ему ничего не оставалось, как сказать дочери:

— Коль сестра зовет — надо ехать. Не скучай, может, и мы с матерью кинем туда свои старые кости... А то я уже засиделся в Осколе... Новый ветер нужен цыгану...

Через месяц, оставив Антона и Аленку у родителей, Любочка с Николаем уехали в Сибирь.



## Юрий МИРОНОВ

Родился в 1940 году на Ярославщине. Десять лет прожил на Таймыре. Автор поэтических сборников "Первый поезд", "Гулкие параллели", "Сила Севера" и книги прозы "Зачем живем на белом свете". Член Союза писателей России. Живет в Николаеве.

### В ТАЙМЫРСКИХ ДАЛЯХ

(Картины северной жизни)

#### Авамская тундра. Год 1920-й.

Густеет на Таймыре полярная ночь. Время течет медленно. Да и течет ли?.. Кажется, что оно замерзло, как моря притаймырские, как таймырские реки, озера, — накрепко, надолго.

На протяжении всей человеческой памяти природа полуострова выглядит так, будто все время ей снится один и тот же сон: над ней властвует километровая толща льда. И от такого сна делается природа еще суровой, еще студеной, и если просыпается летом на какой-то месяц, встряхивается, то лишь затем, чтобы еще крепче погрузиться осенью в свой долгий сон во мраке полярной ночи и во сне снова увидеть: над ней властвует огромный — километровой толщины — ледник...

По нганасанскому календарю идет темный месяц зимнего года.

А зима выдалась лютая.

Хорошо еще, если в остальную синеву вкраплены звезды, если вылезет там луна, — в тундре тогда уютней, живей. Луна перемещается, и время тоже начинает понемногу двигаться. А если вокруг студеной муть...

Старый Сеймэ из рода Линанчера поднял голову: "Мигающих дырок светлых на небесной шкуре, однако, опять не видно. Шибко плохое небо..."

Сеймэ только что остановил оленью упряжку на берегу Авама. Неподдалеку Авам впадает в Дудыпту. "Реки эти когда вылезут из берегов, — подумал старик, — народ наш далеко отсюда будет, летованья месяц тогда будет". А пока Сеймэ решил, что стойбище надо устраивать здесь. Он выбрал место для своего чума и глыбой снега отметил его центр — очаг.

Вскоре старик услышал скрип снега под нартами и увидел приближающийся аргиш\* — упряжки шли гуськом.

Аргишили в эту зиму тремя чумами.

Люди в оленьих, мехом наружу, сокуях, скучивая свои упряжки на территории, облюбованной для жилья, друг другу не мешали и выбранные родичами места для чумов

объезжали стороной: осквернять такие места следами нельзя — "нянкары".

Таков закон. Бывало, что посмевших его нарушить убивали. И этот закон — не причуда. Велика море-тундра, просторна, но и в ней следы могут пересечься. А нганасанская жизнь сурова — как и природа. И всему голова в этой жизни — олени, домашние и дикие. Весной они заблаговременно уходят к северу, спасаясь от летнего гнуса, осенью — к югу, спасаясь от зимних холодов. И все время ищут корм. Это же приходится делать и людям, — они вынуждены и жить рядом с оленями, и повторять их ежегодные тысячекилометровые пути. ...Пасутся олени — истощается олений мох. Годы и годы нужны, чтобы выщипанное однажды пастбище вновь стало местом лакомым. И горе тому, кто коцует по следам кого-то или же по своим следам: падут от бескормицы олени, умрут от голодной смерти люди. Горе и тому, кто, увидев след, опередит его и заступит путь идущего сзади. Нельзя переходить дорогу друг другу во время кочевий. Нельзя брать в кольцо следов человеческое жилище — чум. Нельзя переезжать и место, выбранное для чума. Нельзя — "нянкары"!

И никто на берегу Авама не сделал этого.

Разместив упряжки в два ряда перед входом каждого из еще не собранных чумов, так что образовались нартыные улочки юго-восточного направления, мужчины и женщины начали распрягать оленей. Белые ручейки поземки, вроде бы и не касаясь слежалого снега, извилисто текли между пучками торчащего тальника. Текли с едва слышимым шелестом. Старый Сеймэ поглядел на них и высказал свое мнение:

— Надо быстро чум ставить. Однако, пурга будет.

Семейство старика состояло из пяти человек: он сам, муж дочери, дочь, их маленький сын и сын умершего сына — сирота Нумаку, его мать тоже умерла. Поэтому старый Сеймэ любил Нумаку особенно. Поэтому же особенно старательно, хотя и ненавязчиво, обучал его всему, что умел сам, приговаривая: "Глаза-то имеешь — смотри..."

Сеймэ не раз уже рассказывал своему осиротевшему внуку: "Когда-то, когда меня еще называли просто ребенком, я вышел из чума и далеко-далеко в тундре увидел дикого\*. Сказал отцу. Отец посмотрел и ничего не увидел. Людей позвал. Люди посмотрели и ничего не увидели. Потом дикий ближе подошел. Все его увидели. И добыли. И еще в тот день добыли сколько-то диких. Стало чего есть. Стало в стойбище весело. С того дня стали меня звать Сеймэ — значит "Хорошие глаза".

Правда, в последнее время, если разговор каким-то краем касался истории с этим именем, старик в конце разговора обязательно добавлял: "Теперь-то глаза мутные стали...". Но подведенный таким образом итог Сеймэ как будто не печалил. Старый нганасан знал: уважения к нему не убавится, наоборот, большее количество лет дает право на большее уважение. И если ему скажет кто-то, "умирать настала пора", он только возрадуется: значит, люди считают, что он, Сеймэ, достиг возраста мудрого, а сознавать это приятно, тем более, что на самом деле смерти тебе никто не желает и что сам в Землю Мертвых в скором будущем не собираешься... Да и говорил-то Сеймэ, что глаза "мутные стали", скорее всего, для того, чтобы, маленько слукавив, намекнуть лишний раз на свой почтенный возраст. Во всяком

\* Аргиш — вереница оленьих упряжек. Так же называется и расстояние, проходимое оленьим караваном за день, — до 20 км зимой, до 12 км летом. И общее расстояние при сезонных перекочевках — это тоже аргиш.

\* Дикий — так зовут на Таймыре дикого оленя.

случае, из лука своего он и теперь стрелял неплохо, и маут бросал точно.

Не пропадали даром его старания и в воспитании внука. И старому Сеймэ, и Нумаку запомнился один день. Олени тогда паслись поблизости от стойбища. Сеймэ, выходя из чума, сначала услышал крик, а уж после этого увидел, что заарканенный олень, мотая кустом рогов, тащит за собой мальчишку, вцепившегося в другой конец маута, по ребристому снегу, по торчащим кое-где из него кустам... Сеймэ догнал их на упряжке. А мальчишка, волочась по тундре, кричал, обзывал оленя рогатым баруси — дьяволом... И не выпустил маута из рук, пока не подросел Сеймэ. Олень, почувствовав иную силу, мужскую, смирился. Сеймэ освободил его от захлестнувшего рога маута и снова пустил пастись, а внуку сказал: “Однако, не понять, кто кого поймал... Но ты совсем хороший ребенок”.

Нумаку тогда было шесть лет.

И сейчас, видя, как проворно внук помогает подтаскивать к месту чума нарты с нюками\* и шестами, Сеймэ ту поминку оленя вспомнил и мысленно внука похвалил: “Однако, совсем хороший парень”.

Сам Нумаку не думал, хороший он или не совсем, но считал себя взрослым: “Еще мало-мало дней, и мне будет годов, сколько есть пальцев на обеих руках и еще на одной”.

На вид ему дать можно было побольше, хотя бы потому, что ростом не уступал он уже ни деду своему, ни другим мужчинам стойбища. Правда, очень больших среди них не было. Люди Таймыра и вообще рослостью не отличаются. На них, видимо, как и на деревьях, здесь растущих, сказываются условия жизни на вечной мерзлоте. Но если учесть, что Нумаку еще и пятнадцати не исполнилось, то старый Сеймэ прав, думая: “Коу-нямы — Солнце-мать — к себе тянет парня...”

Ну, об умении Нумаку ездить на оленях, запрягать их, выкрикивать команды лаистым оленегонкам уж и говорить нечего: все это Нумаку и подавно делал не хуже взрослых.

Но сейчас главная забота — поставить чум.

Работали не суетливо, однако, споро: поставленные конусом жерди покрыли сначала одним слоем нюков — шерсть внутрь, затем вторым слоем — шерстью наружу, а поверх второго слоя — слой из мешковины, — это чтобы в шерсть не набивалось снегу.

Сойтюр, дочь старого Сеймэ, принялась разводить огонь: “хранить очаг” — дело женщины. Сложила на железном листе костерок из корявых поленьев, привезенных на грузовой нарте, нащипала под него кучки из ломтиков гнилушки, наломала на эту кучку немного сушняка и подожгла спичкой. Еще одну спичку — еще одну чудесно затвердевшую капельку огонька на конце палочки — она истратит теперь не скоро: эту твердую капельку огня, это доброе чудо надо беречь. Недаром купцы так шибко ценят эти маленькие чудесинки — одна маленькая пачка равна большому оленю. И потому будет теперь Сойтюр загревать горячие угли костра золой и пригнетать сверху камнем. И пусть останется в золе хоть один тлеющий уголек, Сойтюр будет разогревать его своим дыханием до тех пор, пока не затеплятся и соседние угольки, потом она будет раздувать их небольшим мехом — и разведет огонь без спички... Так

\* *Нюк* — составляющая часть чума, сшитая из нескольких оленьих шкур.

думала хранительница очага, глядя на приветливо заулыбавшееся пламя. Еще она думала, что и посуду, и материю-мешковину тоже надо беречь, потому что русские купцы и тундровые богатеи берут за все это песцовых шкурок тоже много... И дрова надо беречь, потому что добывать их тоже трудно. Поройся-ка в снегу, повывдирай корявый тальник... Но теперь, при зимовке, когда дошли до края реденького леса, дрова для костра добывать будет все же легче, и не придется помереть от холода...

Нумаку в это время помогал мужу Сойтюру Васептэ утеплять нюковые стены чума понизу: Васептэ обкладывал их изнутри старыми шкурами, изношенной одеждой, а Нумаку лопатой нагребал снежную завалинку снаружи. Нагреб и напротив входа сделал поддувало — проделал под завалинкой отверстие для тяги.

Вышел Сеймэ, взял в нарте ременную веревку, и Нумаку, закончив дело с завалинкой, начал и старику помогать — обвязывать чум.

Виднелись уже и чумы родичей. Стойбище принимало надлежавший ему вид: закосматил ветер дымки над жилищами, заперетягивались собаки — тоже новое место обживают. Коротконогие, они, казалось, и не бегали по снегу, а катались по нему, как снежные комки, — белая масть их в ночной безлунной пасмуре такое впечатление только усиливала.

Сеймэ ушел в чум.

Нумаку облокотился на приставленную к чуму нарту изпод жердей. Он немного устал, но усталость была приятной. Он знал, что после частых перекочевков, начавшихся еще в месяц линьки гусиных птенцов, наступило время покоя, аргить придется теперь нечасто: пришли к лесотундре — здесь место зимовки. Холодно и тут. Но еще немного времени — и восхода солнца месяц, снег делается красивым... Нумаку огляделся...

Поземка уже не ползком двигалась по тундре, а приподнялась на четвереньки... Ошетилилась... Олени, копыта снег возле стойбища, вырисовывались неотчетливо.

Нумаку окликнул пробежавших мимо собак, и две из них, видимо, только и ждавшие этого, шмыгнули в чум, опередив хозяина. Войдя вслед за ними, он улыбнулся и невольно сделал затяжной вдох: над пылающим очагом висели уже на крюках котел с мясом и чайник; запах принесенных с мороза и сложенных позади очага дров перемешивался с запахом варящейся оленины.

Приостановился Нумаку, вдохнул вкусный запах еще раз и шагнул к огню, протянул к нему руки... В это время собаки, улегшиеся было возле входа, вскочили и залаяли. Нумаку повернулся лицом к входному нюку: скрипнули и замолкли полозья чьей-то нарты...

Выжидательно глядели в сторону входа и другие обитатели чума, но с места ни один не тронулся. Смотреть, кто приехал, не было нужды: приехал — войдет.

И он вошел...

Нумаку никогда еще не видел такого гора-человека и оглядывал его сверху донизу и снизу доверху. Одежда на нем тоже из шкур, но не как у сородичей Нумаку, по-другому сделана.

Приезжий снял мохнатую шапку из собачьего меха, темную с желтыми пезинами, и весело, басовито проговорил:

— Здравствуйте, люди добрые!

Нумаку, глянув мельком на своих, заметил, что Сойтюры и старик оживленно зашевелились, выжидательная серьезность, застывшая на лицах перед появлением в чуме неизвестного, растаяла вмиг, схлынула, и зажглись на лицах улыбки, а хорошо горевший костер запыхал вроде бы еще ярче, веселее...

Старый Сеймэ, восседавший с трубкою во рту на шкуре в правой стороне чума, поднялся и сделал шаг назад. Такое движение его одновременно означало и то, что хозяин чума приглашает гостя на свою половину, и то, что, делая так, он оказывает гостю почет и уважение.

Поздоровался старик тоже с явным удовольствием:

— Драсту, Большой Никифор, драсту. Однако, век ты моём чуме не был. Однако, тундре токо встречи были...

Собаки, поняв, что хозяева пришельцу искренне рады, облаивать его перестали и, обнюхав, извинительно завилили хвостами: мол, обязанность наша такая, сразу не разберешь...

Сойтюры свое расположение к Большому Никифору проявила чисто по-женски: встала и, улыбаясь, добавила в костер дров. Такой молчаливый жест дочери Сеймэ гость понял, ответно улыбнулся ей и прошел на половину старика, отряхнув перед тем шапкой осевший на шубу снег.

— Как аргишилось, бойку?

Называя Сеймэ так, а не по имени, гость знал, что нганасанский обычай обращения к старикам, да и ко всем мужчинам старше себя, именно этого слова и требует: старые это слово воспринимают как "старик", а это значит, что говорящий с тобой твои годы чтит; для мужчин же зрелого возраста "бойку" звучит как "дядя" и тоже значит, что обращающийся к тебе осознает твое старшинство.

Сеймэ на Большого Никифора поглядел внимательно:

— Однако, хорошо аргишили. Мой-то ум так думал. Дикова добыли довольно, гусь били-ловили, пушальни воду метали — рыба брали... Еду хороший едим... Однако, век тебя не смотрел.

— Верно, бойку, век... Опять твоя семья большая стала. Дочку токо вот девицей помню. А это, выходит, зять и внуки?..

Сеймэ понимал: гость, сказав о его семье "большая", просто порадовался, что после всего горя ему, старому Сеймэ, и талана-счастья маленько перепало.

— Однако, верно, дочка девка была тот раз, а парень, — Сеймэ показал на Нумаку, — был ребенок, чуме старшего сына жил. Ты его потому не видел.

Большой Никифор, прежде чем сесть на разостланную шкуру, огляделся и неторопливо сташил с себя шубу. Старый Сеймэ довольно закивал головой: раз гость снял свою русскую парку — останется в чуме ночевать, длинную речь можно будет тянуть, разные вести слушать.

Раздевшись, гость опять садиться на шкуру помедлил:

— Пойду-ка быков своих распрягу...

Но тут поднялся, молча до сих пор сидевший слева от костра, Васептэ и заговорил по-русски — как и Сеймэ, вывихивая суставы слов, но терпимо:

— Чуме сиди. Я твой бика отпущу.

Большой Никифор согласился:

— Ну-ну, валяй. А то и правду я затомился, да и прозяб ко всему вприбавок, — сказал и, садясь на мягкую шкуру, растопырил здоровенные руки, засмеялся и подмигнул глядевшему на него во все глаза и потешно пыхтящему карапузу в меховых штанах:

— Поди ко мне, сопленосой...

И "сопленосой", подумав, вперевалку зашагал к Большому Никифору что-то добродушно бормоча, но все же остановился не дойдя...

— Как звать-то тебя, оголец? — снова обратился гость к малышу.

Мальчонка, не понимая чужанина, тем не менее безошибочно понял его ласку и отважился еще приблизиться — потянулся к рыжевату клину бороды и тихонько выговорил:

— Миколка...

— Да ну! — удивился Большой Никифор.

Старый Сеймэ тоже удивленно сощурился, но, посмотрев по направлению взгляда внука, все понял:

— Однако, его ум так думал: ты — Миколка-бог... А сам он пока имя нет, пока он просто лапса, просто ребенок. Так будет — пока чем-то характер свой казать будет... Однако, сам ты ему Миколка-бог казался, бородой казался.

Гость засмеялся:

— Вон ведь што!.. Эй, нет, малец, больно грешон я для этой должности.

И только сейчас заметил в полутьме привязанную к шесту чума икону с изображением Николая-чудотворца, а рядом с ней — длинненький камешек, тоже к шесту привязанный; святому чудотворцу удивился больше, чем каменному идолу.

— Али и ты, бойку, христианином стал? В две веры веруешь, в два бога... Ой, старик! — Большой Никифор лукаво погрозил старому Сеймэ пальцем. — Однако, думаешь, какой-то да поможет... Все они, старик, одинакие... Откуда это икона-то взялась, "Миколка"-то?

— Купец-начальник русский Пуса продавал. Крестись, говорил, пособка будет, говорил... Однако, я не крестись, однако, так смотрю. — Сеймэ сощурился на икону...

— Значит, говоришь, купец-начальник русский этова чудотворца тебе всучил... Пуссе, значит, уважаемой... Ну-ну, брат ты мой... — Большой Никифор усмехнулся и качнул крупной лобастой головой, лысеющей уже; при таком движении на могучей шее обозначились упругие бугорки жил. — Русский Пуссе, значит...

Гость опять усмехнулся, думая: "Тоже мне русский нашелся... Обличье-то чисто иностранное. Мужчина видный, што и говорить, и расторопный... В родословной-то его — аж из Италии выходцы, а он вот, мало сказать, в России обосновался, а на самом ее холодном краю осел, да не просто купцом — еще и урядником: власть на весь Таймыр... Правда, теперь-то и не разберешь, чья тут власть, кто командует... Но Ксенофонт Васильич, как поглядеть, и теперь не тужит. И книг уйма, и драгоценностей — золота-серебра... Еще бы! Бога вот и тово продал... Иудушка, сукин сын... Однако, умен. Большой Никифор еще раз кинул взгляд на икону и тут же перевел его на сидевшего рядом с собой старика с перепутанными прядями седых волос. В глазах Большого Никифора в этот самый момент вспыхнули веселые огоньки.

— Песцов, поди-ко, за бога-то взял?

— Песцов, однако, — безразлично ответил Сеймэ.

— Ну а пособка-то от него есь, польза-то есь, помогает бог-от? — продолжал приятным баском допытываться гость.

— Однако, есь. Меня в уме так. Сам ты говорку держал, будто семья мой стала большой, умирать не стала. Однако,

есь пособка, как не быть... Помогает какой-то бог. Может, ваш Миколка-бог, может, Шайтан-бог, наш.

Большой Никифор, снова произнес свое “ну-ну, брат ты мой”, показал глазами на привязанный по соседству с иконой вытянутой формы камень:

— Бойку, а это все тот шайтан у тебя живет, какова ты в тот раз нашел?... Помнишь, мы с тобой встретились на берегу Янгоды?..

— Однако, тот шайтан, — утвердительно кивнул старый Сеймэ.

Маленький внук старика, зная, к чему относится это часто повторяемое в разговоре слово, осторожно приблизился к идолу каменному, постоял и вдруг, ткнув в него пальцем, быстренько закосолапил, как медвежонок, сначала к наклонившемуся над костром Нумаку, а потом, передумав, побежал на левую сторону чума, к матери. Губы его при этом вытянулись в трубочку, из них шипяще вылетало:

— Шайтан, шайтан, шайтан!..

Сойтюр прикрыла рот ладонью — то ли от неожиданности (такой внезапной была выходка сына), то ли чтобы скрыть улыбку.

Старый Сеймэ проводил внука строгим взглядом:

— Ума-то маленько. Я его теперь за ухо буду дергать.

А Большой Никифор улыбку таить и не думал, на его обветренном докоричнева лице свет улыбки и свет костра перемешивались: казалось, что и борода его, может, от огня как раз и рыжеватая, улыбается...

— Хлопец-то не робонький.

Говор у Большого Никифора был такой, что, сиди рядом не абориген таймырской тундры, а человек из-за той, европейской, стороны Урала, вряд ли бы не подумал, что разговаривает, скорее всего, с волжанином.

Но старый Сеймэ о Волге-реке и слухом не слыхивал. Все пришлое были для него русскими — и купцы, как Пуссе, и промысловики-охотники, как Большой Никифор. Хотя относился к ним старик по-разному.

О сегодняшнем его госте по тундре ходят вести хорошие, люди северные, все, кто на оленьих ногах ездит, говорят о нем — “шибко хороший человек”. Да и сам Сеймэ это давно понял. С Большим Никифором он встречался не раз. “Длинный путь с ним держали, до края темной воды с одним берегом ходили в одной куче, — думает Сеймэ, — еле живые остались. Сердце совсем пугалось, душа близко была. Но Сеймэ век тундру знает, а Большой Никифор — тонкаго-человек, богатырь-человек, кости у него совсем большие. И дикого добывать мастер. Совсем хороший охотник. Совсем честный, кривую говорку не положит. Пускай и смеяться любит маленько, и над ним, над Сеймэ, тоже. Но добрый. И потому, если Большой Никифор даже какой-то обычай нарушит, то Сеймэ сердце свое на Никифора век сердить не будет”, — так думал старик.

...Было у старика пятеро детей, остались двое — сын старший, дочь младшая. Второй сын умер маленьким; третий сын — отец Нумаку — пас оленей барбы-князя Дяптодуси, и во время гона бросился на пастуха олень-самец, бежавший за важенькой и возбужденный ее близостью. Родился он, этот олень, от дикого порога и был сильный, а в такую пору еще и свирепый. Пострадавший от его рогов и от ушиба при падении с кручи на камни сын Сеймэ жил после этого, по словам старика, “мало-мало”. Не помог и шаман Дюходэ. Жена этого сына — мать Нумаку — умерла при родах второго ребенка, и ребенок — тоже. Четвертый сын и

жена Сеймэ умерли в год черной оспы, когда неживые чумы с неубранными покойниками оставались стоять в тундре, и песцы ели мертвецов, а собаки дико выли в ночи, слыша гулкие бубны да исступленные вопли шаманов, обращавшихся за помощью к духам. И если говорил старик кому-то о своей семье, то заканчивал этот горестный рассказ всякий раз одинаково: “Беда, много в Земле Мертвых живот моих людей; беда, много ледовок\* наших в тундре”.

Поэтому, увидев в чуме старого Сеймэ молодую поросль, и сказал Большой Никифор, что семья опять многочисленной стала, и тем самым утешил старика, порадовал, зажег в его душе благодарное чувство.

Пришел Васептэ, держа в каждой руке по крупному, заиндевелено-мороженому чиру. Собаки, дремавшие у входа, вскопили и удовлетворенно завивали пушистыми хвостами. Сойтюр, сидевшая на сероватой шкуре, поднялась, взяла у мужа обе рыбины и споро принялась их чистить.

После того как шкурка вместе с чешуей была с чиров снята, ими занялся Васептэ — начал стругать их на низеньком столике, и все теперь свое внимание сосредоточили на молчаливом действе Васептэ — эта операция в приготовлении пищи последняя, после нее начнется самое приятное... Ножик Васептэ в мороженую рыбу входил податливо. Если стружки получались потоньше — завивались в белые колечки. Полоски с хребтов и тешку Васептэ разделил на кусочки и сдвинул — ножом же — в отдельную кучку: это самое лакомое и будет съедено под конец.

Сеймэ оживился — он полулежал, а теперь сел:

— Однако, это время дошло, строганину, хорошее мясо кушать надо, брюхо тешить надо, — решил старик и выбил свою костяную трубку.

Нумаку же все поглядывал на Большого Никифора... Русских он видел всего несколько раз. Но другие русские были не как этот.

Нумаку хорошо запомнил тот день сколько-то лет назад, когда тот купец русский дал им бога на доске... Купец Пуся... Огненной воды всем наливал — и маленьким. Он, Нумаку, тоже попробовал, но выплюнул — такая плохая. А какие-то маленькие пили. Потом брюхо через рот выворачивали. И взрослые пили, веселые все были, песни пели, песцов несли “Пусе”, целовать его лезли, называли шибко добрым. Он улыбался, рукой махал, когда уезжал... Потом текли у всех слезы, били друг друга, ножи даже в крови пачкали.

А Большой Никифор не такой: говорит — воду огненную не пить, ничего не просит, глазом шутит-мигает, с бойку хорошо разговаривает, Васептэ и Сойтюр ладно ему делать стараются... Вот и опять... И видя, как Сойтюр крючком вытащила из котла кусок оленьей грудинки и положила перед гостем, Нумаку действия хранительницы очага мысленно одобрил: “Правильно, что она ему почетное угощение дает”.

После сытной еды старого Сеймэ потянуло на разговоры:

— Однако, я совсем долго живу. Умирать время дошел... Молодой-то когда был — красивый был, шибко девки любили, украшенья дарили... Косы меня были, украшенья в них заплетал — голову низ тянули... Жену себе нашел, ког-

\*Ледовка — безмогильное захоронение, когда умершего кладут на санки и оставляют в тундре.

да люди одну кучу стояли, когда ночи время конец был, солнце-празник был... Шибко девка-то хороший. Шаман молодой девку-то смотрел тоже — отец это стал потом Дюходэ-шамана. Боролся я с ним... Шаман худой ум держал... Говорит: "Я эту девку возьму". А мой ум такой: как так-то будет? Не будет так! Девка совсем сладкая, моя жена будет. Шаман глядит мне глаза, смеется, — совсем как ладонь рожа у него, — говорит мне: "Уходи, парень, а то по-настоящему бороться буду, душу теперь из тебя выгоню, убивать буду..." Говорка шамана такая острая... Как-то боюсь. Шаману дают пособку духи. Думаю, попал в дело... Речи слышу: "Ум-то у тебя еще есть? Отдай шаману девку", — так старики говорят... Однако, девка хороший, беда, красивый... Шаману она отдать — худо так-то будет. Кровь во мне шевелиться стал. Думал, посмотрим, кто верх взять будет... Боролись сколько-то... Шаман меня стал головой лед стучать, кровь носа лилась. Совсем кости тяжелый стали, беда, как утомился, горло узкое стал. Сила моя вышла. Душа оторвется скоро совсем — такие худые думы... Шаман нож с роговой ручкой брал, говорил: "Ну теперь я тебя убью, пускай ты умрешь..." Люди тоже, слышал, говорят: "Даром шамана сердил, совсем дурной парень..." Кровь-то моя опять шевелилась тут... Теперь, пока он достал нож, я силу-то маленько собирал, думал, пока совсем душа не уйдет, драться буду. Мотнулся — как олень-бык, руку шамана кусал, нож шамана брал — тоже кровенил шамана маленько, убивать тоже хотел... Однако, сердце пушистый, как песка шкура стал. Однако, не стал ему короткий жизнь делать... Моу-нямы, Земля-мать, сказала людям: "Убивать — нянкары, нельзя убивать". Так я сделал. И хороший девка увез, женой брал. Так стало... Шаман, однако, меня тоже говорил: "Надо было отдать девку. Бороться не надо было. Хорошо жил бы. Теперь я шибко сержен, теперь приду тайком, душу оторву. Ты погибнешь". Люди тоже говорили: "Ну, парень, теперь ты в большое дело попадешь..."

Старый Сеймэ замолчал, налил в кружку крепкого, до черноты, чаю, отхлебнул и подвел своему рассказу итог:

— Верно шаман-то говорил, люди-то верно говорили — будто в большое дело попаду... Меня-то он не погубил, талан-то-счасье меня есть. Немного. Сам-то он сколько-то лет умер. Однако тропу мою переступил все же. Потому в Земле Мертвецов людей-то моих много, потому ледовок-то моих тундре много. Дюходэ-шаман, сын того шамана, тоже говорит: "Даром ты отца мой шел против. Шаман — не настоящий человек, шаман от бога". И снова старый Сеймэ умолк, снова чаю отхлебнул, глаза прикрыл.

— Однако я жену век любил...

Большой Никифор смахнул тыльной стороной ладони выступившие на лбу потинки. Жар от костра поослаб, но зато от горячего ужина пошло тепло изнутри. И ничего что вверху, в самой вершине конусообразного чума, куда тянулся дым, свистело и подвывало — точно засели там серый волк да Соловей-разбойник, залетевший на Север из русской былины.

Мысль о Соловье-разбойнике Большому Никифору странной не показалась ничуть: шкуры, костер посреди обиталища этих людей, сами люди в шкурах и представления этих людей — с их шаманами, богами-нгуо, барусидьяволами и шайтанами, — все это заставляло думать, что здесь, замедлясь каким-то образом, еще и проходят те века — время змеев-горынычей и соловьев-будимировичей...

Разговор сошел на нет. Хозяева чума, а глядя на них и гость, занялись обглаживанием костей. Большой Никифор знал, что оставить на костях хотя бы немного мяса и так их выбросить — грех, как выбросить хлеб на Руси.

Собаки, покончив с рыбьими головастыми скелетами, оставшимися после обтесывания рыб на строганину, повливали хвостами и многозначительно поглядывали на рассевшихся возле костра людей.

Нумаку все основательно подработанные зубами кости сгреб в кучу и бросил к ногам собак. И сразу же — довольное урчание, хруст, чавканье...

Старый Сеймэ вытер масляные руки об шкуру, протер пальцем глаза и, прищуренно глядя на гостя, спросил:

— Твоя мысль как будет — много люди на верхней земле? Моя-то думает — мало. Болезней бог их жрет. В Земле Мертвых люди много. Твоя-то как думает?

— Много, бойку, людей и на этой земле, на верхней... Больше чем звезд на небе видных — дырок тех светлых, как ты говоришь. Земля, вся-то, бо-ольшая-большая... Городов — стойбищ таких шибко больших — много, очень много. Там чумы каменные стоят, высокие, как горы. Морей на Земле много, лесов, пустыни есть — это где жарко всегда, как у самова костра вот, где снегу совсем не бывает, век не бывает. Заместо снегу там песок горячий — желтый, как луна. И там люди живут. Везде люди, бойку, — всякие-разные, большие, маленькие, черные, будто головешки холодные, и белые.

— От ково они — твоя как говорит?

— Говорят, от обезьяны, — Большой Никифор засмеялся.

— Это кто — обезьяны?

— Зверь такой...

— Какой такой? — дознавался старик, и все внимательно вслушивались в его разговор с русским.

— Ну какой... Не шибко красив, зад голый. На двух ногах может ходить, как человек... От ево, говорят, все мы и получились.

Сеймэ подумал-подумал и не согласился:

— Однако, это твой народ от обезьяны. Мой, однако, от дикого оленя. Такой старый весть наша... Мы — народ Дикого оленя.

— Тоже правда, — усмехнулся Большой Никифор, глядя то на одного хозяйского внука, зубами отрывавшего от кости сыроватое мясо, то на другого, привалившегося к матери и ковыряющего пальцем в зубах малыша, который еще просто "лапса", просто ребенок — без имени...

Глядел и думал: "Такая у них темень, такая дичина! Неужто и им, внукам этим, на роду написано так прожить до смерти — ни машины какой-нибудь не увидеть, ни избы, по-настоящему срубленной, а уж про каменные-то зданья городские и слов нет. Дудинку и ту могут не увидеть — селенье это в полтора десятка домов. Неужто и этот вот молодняк так и будет верить, что произошел их народ от оленя... Народ Дикого оленя... Хотя в этом какой-то резон, какая-то правда есть: олени для них — это жизнь. А вот шаманы эти и дикость несусветная — это горе. Вымирает народ, и с тысячу-то уж наверняка не наберешь... А чем поможешь, как?... Один тут ничего не сделаешь... Эх, жизнь!" — Большой Никифор налил себе чаю и крупными глотками выпил.

Ветер над чумом выл и постанывал. Костер горел неровно: дым то устремлялся кверху, подхваченный сквозняком,

— и костер удлинялся, то шарахался сверху вниз — и костер тогда сплющивался, раздавался вширь.

Пурга набирала силу.

Старый Сеймэ, приглядываясь к огню и прислушиваясь к ветру, высказал опасение:

— Однако, пурга шибко худой будет. Неги-нямы, Птица-мать, над верхней землей летать будет — гагара огромная будто, все небо закрыть будет... Шест надо ставить.

Васептэ сразу же направился к дверному нюку, откинул его и вышел.

Возвратился с жердью, надел на один из ее концов старую рукавицу (чтобы не проколоть нюк) и подоткнул этим концом стенку чума, на какую наталкивался ветер, второй конец жерди закрепил в мерзлой земле — получилась подпорка.

Большой Никифор знал, что, когда такой нехитрой штуковиной в пургу пренебрегали, — бывало, и чумы сносило, и семьи гибли.

Под вой пурги, все более свирепшей, и спать стали укладываться: по одну сторону костра Сойтюр и Васептэ со своим сынишкой — под пологом, привязанным к остовым шестам чума, по другую — старый Сеймэ, Нумаку и Большой Никифор, — подушкой ему в эту ночь должен был послужить меховой сокуй, одеялом — такая же шкура, как и та, что положена в качестве матраса. Лечь Большой Никифор попытался ногами к костру — не получилось: или голова в стенку чума упиралась, или ноги в костер. Пришлось разворачиваться наискосок. Уснул скоро.

А Нумаку не спалось. Многие услышанное сегодня от русского не совпадало с прежними представлениями и было таким удивительным. Большой Никифор говорит: есть где-то стойбища-города, чумы-дома там каменные, высокие, будто камни-горы Норилья... И все это где-то в стороне солнца. Людей много там, ездят они там на железных машинах по железной тропе... Какие же это такие каменные стойбища?.. Какие такие железные олени? Какая такая обезьяна, от которой получились русские?.. Здесь русских мало, там много, намного больше, чем наших людей. И еще другие люди есть — живут, где не бывает снега даже зимой. Как такое может быть? Снег везде быть должен, как он может не падать на землю? Или там небо без дырок, как новая шкура... Надо бы язык Большого Никифора хорошо перенять, а не только со слов бойку знать. Перенять хорошо — и спрашивать Большого Никифора обо всем...

А узнавать что-то новое и думать Нумаку нравилось. И сегодня вот, когда Большой Никифор сказал, что людей на земле — как звезд, новая мысль пришла в голову: “Людей нашего народа, однако — как оленей в табуне Дяптодуси. Столько оленей для одного Дяптодуси — это шибко много. Столько наших людей — это шибко мало, если всех-то на земле — как звезд”. И Нумаку осенило: “Потому и жену парням нашим искать трудно. Васептэ из рода вадеевских нганасан, а Сойтюр нашу у нас нашел, у авамских... Так можно век жену не найти”.

Самого Нумаку эта проблема теперь не волновала: летом, когда шел линьки гусей месяц, стойбище старого Сеймэ оказалось не так уж вдалеке от чумов людей рода Нгамтусо. Гостевали. Нумаку увидел там девочку моложе себя примерно на число лет, равное количеству пальцев одной руки. Разговоривали. Пораскинул умом и предложил: “Ты будешь через сколько-то лет моей женой?” Девочка та бойкая — высунула кончик языка, но после ответила: “Буду”.

Зовут девочку Анюптэ.

Раздумья Нумаку, перед тем как задать ей такой важный вопрос, заключались вовсе не в колебаниях по поводу ее внешности: то, что личико у Анюптэ хорошее, он замечал сразу. Прикидывал же он в уме другое: можно ли будет ему на ней жениться... Ну то, что она помоложе, — это ничего. А вот как в смысле родства? “...Отец ее из рода Нгамтусо, — начал снова разбираться Нумаку, как и при первой встрече, потому что ошибиться тут было нельзя, — ее мать из рода Нюнонде. Мой отец из рода Линанчера, моя мать из рода Чунанчера... Все верно, роды наших с ней матерей и отцов разные. Мы жениться можем... Плохо только, что из ее рода Дюходэ-шаман. Большой шаман — все к нему за пособкой ходят и все его боятся”. И, уже засыпая, Нумаку увидел этого шамана — даже не его самого, а лишь его глаза — нехорошо бегающие, не глаза будто, а шайтаны...

И еще Нумаку перед сном, а может уж и во сне, помешалось: вот она летит из Земли Мертвых — эта Неги-нямы, эта огромная птица, про которую говорит бойку... Это от ее крыльев такой страшный свист кругом. Это она таскает людей в нижнюю землю... И Нумаку сжался. Ему привиделось: он лежит на снегу, а над ним зависла и машет, машет белыми крыльями во все небо холодная птица Неги-нямы, машет и вздымает черную свистящую пургу. Но Нумаку знает: если вжаться в снег, если спрятать в снег лицо и вцепиться хотя бы в какой-нибудь произрастающий из земли пруттик, то птице унести человека не удастся. К самой земле она опуститься не может. Так говорит бойку. А бойку про такие дела все знает...

## Роман СОЛНЦЕВ

Родился в 1939 году в Прикаспье.

Автор ряда сборников прозы и поэзии.

С 1965 года член Союза писателей России.

Живет в Красноярске.

### ДЕРЕВЯННАЯ ШЛЯПА

Маленькая повесть

#### 1.

У каждого есть дивный далекий берег, который снится ему в темных снах, особенно во время болезни. И чем дальше ты не ступал на его зеленую травку, тем все более неловко взять и навестить его... Могут не узнать тебя, старого, плешивого, и оскорбить словом или палкой — нынче не любят чужих. А если узнают — тоже ничем не лучше: что ты доброго сделал для родины своей малой, чтобы через многие годы ходить тут торжественным шагом и лить слезы над незабудками и репьями — здесь и без того почвы солонны...

Но и совсем не приехать невозможно — как сказал один умный человек, жизнь наша висит на ниточке, и никто не знает, когда распадутся ее скрученные, как девичья золотая коса, еле видимые глазом тонкие пряди... Не приехать и не постоять вживую на земле, вобравшей в себя твоих предков, равно смерти от удушения.

Село длинное, узкое — в две-три улицы — раскинулось по высокому холмам, разделенным оврагами, и сбегает баньками да сараюшками для кирпича к желтой речке. Речка называется Протока (как будто сама река Бог знает куда от нее убежала!), а село — Баево, что, видимо, означает — село богатых (читали же когда-то про баев). Правда, за последние десятилетия название села в окрестном народе изменилось на непечатное "Раз..." — и тому были причины. В шестидесятые годы прошел государственный слух: поднимут воду в далекой великой реке, куда впадает далекая большая река, в которую впадает наша Протока, и даже она, мелкая, теплая, в камышах и непрестанных кругах по воде из-за играющей рыбы, выйдет из берегов. Приехали высокие пузатые и маленькие пузатые люди, потыкали указательными пальцами в землю и за горизонт и объяснили столпившемуся вокруг с открытыми ртами народу: Плотины будут! ГЭС будут! Море будет! Океан будет! Электричество будет! Керосина не надо будет! И за два года село отселили на поля, ибо волна может накрыть его. Но то ли ошибка вышла, то ли начальники будущей ГЭС решили обойтись морем более скромной величины, только оказались баевцы по своей наивности на расстоянии километров пять от живой воды. И постепенно принялись перетаскивать избы на прежние места... Кто, конечно, смог... Кто еще не состарился... Впрочем, те, что помоложе, поставили у Протоки белые, новые срубы.

В эти самые годы оглушительных обещаний и разочарований я учился в городе, но каждое лето возвращался в село, где жили мои родители и вся родня. Наша изба (по новой возвращенная) стояла на самой нижней, Камышовой

улице, где под нашим огородом и одичавшим колхозным садом лунными ночами пели лягушки, вызывая на состязание соловьев. Иногда соловьи им ответствовали, но нехотя, как учитель пения московской консерватории показывает класс где-нибудь в ДК цемзавода.

Я любил поздней зарей стоять у воды. В воздухе толкалась мошка. Совсем близко мелькали то ли ласточки, то ли летучие мыши — чем гуще темнота, тем уже неразличимее. Вдруг проплывала огромная белесая сова. И почему-то сладкая тоска сжимала душу... Все казалось, что истинная, настоящая, красивая жизнь проходит где-то бесконечно далеко отсюда, как темно-красная заря за холмами или та самая мифическая река, которая сбегала за горизонт, оставив тут всего лишь Протоку.

Утром же мысли короче и веселей. Я бездумно прыгал в воду и, уняв первое сердцекипение, медленно плывал кругами, глядя, как подо мной со дна тянутся к свету желтые купавки, а некоторые уже рядом высунулись... И хоть дно — вот оно, близко (могу, кувыркнувшись, запросто достать его), но живые ракушки, оставляющие в иле следы, но синие веретена шук, но густой шевелящийся космос вьюнов, мальков, водомеров восхищал и пугал меня, и мне начинало казаться — в отличие от ночного ощущения — что я один-одиношенек остался на свете человек и могу погибнуть, заглотив вместе с водой какую-нибудь страшную незнакомую личинку или живой волосок — есть и такие твари в реке...

Сегодня смешно и грустно — все мы выдумщиками были. Но выдумка выдумке рознь. О чем-то можно и друзьям рассказать, но о чем-то стыдно. Единственным мальчишкой, с кем я был безоглядно и до конца откровенен, был мой двоюродный брат Ильгиз.

Если разобрать, как часы, имя Ильгиз на части, то получится: Иль (по-татарски родина) и гиз (во Франции были гёзы, партизаны, воевавшие по всем берегам с испанцами). Мы все слова в детстве и юности разглядывали, как камушки на просвет. Мое имя Ринат, если быстро его повторять, превращалось в Натрий... Очень опасный металл. Взрывается, попав на воду... Мы радостно переиначивали и простейшие, обиходные слова. Например, вместо "пойдем" говорили "мёдпой". Получалось нечто загадочное и сладкое, не просто дорога...

Но наибольшей для нас радостью была не эта игра в слова, и даже не лапта, не карты, не городки, не пристенок, и даже не рыбалка, хотя у Ильгиза отец — бригадир рыболовецкой артели в селе. Нет! Наивысшее наслаждение нам доставляло плавание вдвоем под перевернутой лодкой.

Голые, в одних трусах, мы отплывали подальше от села и, перевернув лодку, подныривали под нее и сплывали вместе с ней по течению, поджав ноги — чтобы не зацепиться за коряги и камни. Долго плыли в никуда. За пределами тонкой долбленки шумел мир — кричали гуси, гулко тукала вода, лаяла собака, визжали девчонки... Кто-то тяжелым, взрослым голосом спрашивал: "Уж не утоп ли кто? А может, прибрать лодчонку-то, неплохая лодчонка?.." И тут мы выскакивали и орал, хохотали, как дураки, пугая детвору и озадачивая тех взрослых, что на данный момент трезвы...

Отец Ильгиза, Муслим-абый, брат моего отца, хоть был и старше его лет на сорок, выглядел, пожалуй, моложе. Отец-то у меня лысый, как лампочка Ильича, и лицом морщинистый, а Муслим-абый лицом румяный, как бабулька или пацан, на голове волосы короткие, густые, как у кот.

Отец Ильгиза не одобрял наших плаваний под лодкой — что за безделицу придумали? Насмешливо как-то сказал сыну при мне:

— Ты что, деревянный шляпа ходить хочешь? — Он плохо говорил по-русски, и в основном, когда были посторонние. — Я твоя отдам. Она легче.

И действительно, протянул шляпу, серую, как зола, с серебристым пояском вокруг и дырочками, просверленными, видимо, для того, чтобы проходил воздух. Но Ильгиз только жмурился и тихо смеялся.

Как вам нарисовать образ моего закадычного братца и друга? Он был рыжий, тонкорукий, сутулый. И не просто рыжий — пламенные патлы торчали над ушами, как у сумасшедшего скрипача (где-то я видел на репродукции), или протуберанцы у солнца. Глаза — светлые, рысьи, немного раскосые. Он уверял, что он башкир, а не татарин, именно у башкиров глаза раскосые, как у рысей. Но как же он может быть башкиром, если отец мой и его отец — родные братья. Ну, мама у нас по деду то ли венгерка, то ли молдаванка, но не у тебя же, Ильгиз? Говорил он тихо, таинственно, ходил размашисто, был сильнее меня, хотя я старше на год.

Как сейчас (да, именно как будто вот сейчас, в эту секунду, за краешком письменного стола это происходит) я вижу берег, толстые ветлы на берегу, с цепями, и чей-то бык ходит “по цепи кругом”, бренча и вскидывая широкую морду. И вот именно Ильгиз ко мне задом затягивает на землю лодку, скользя босыми пятками по белесым пулякам, оставленным гусьями, и обернувшись, подмаргивая, что-то говорит беззвучно — я читаю по смеющимся губам и понимаю: он выпросил лодку у отца, и мы можем поплыть.

Пока в школе учились, мальчишество наше было всем понятно, но вот я уже студент, у меня даже морщинка появилась на лбу, особенно, если сильно нахмуриться, а он все такой же — беззаботный, сам по себе, с рыжими патлами, торчащими над ушами, и все на лодке катается, и все под лодкой плавает... Нет, мне и студентом нравилось вместе с двоюродным братцем, как прежде, залезть под деревянную посудину и медленно перемещаться над таинственным дном, где то ли тени от наших толстых ног бегут, то ли это сом с усами отвернул в сторону... а ведь мог и откусить что-нибудь!

Ильгиз учиться в город не поехал. Пробовал поступить на курсы механизации в районном центре, но к ноябрьским праздникам сбежал и вернулся в Баево на воняющей рыбой полуторке с заместителем отца дядей Костей, который гордился тем, что он именно Костя, как знаменитый киногерой из фильма “Два бойца”. Он выучил песню “Шаланды, полные кефали” и часто пел под гармошку татарским и русским девушкам, только вместо “Но и Молдаванка, и Пересыпь” (районы Одессы), пел, как все мы тогда: “Но и молдаванки, и перессы”. Что это были за перессы, никто не знал. Ильгиз уверял, что это персидские принцессы, сокращенно.

Дядя Костя сказал Ильгизу:

— Ты сын рыбака... Работай с папаней.

И стал Ильгиз рыбаком. Артель из шести человек кормила рыбой все село, можно сказать, бесплатно (хороший лещ стоил три копейки), при том что половину улова забирало далекое отсюда, но зоркое районное начальство. Рыбаки работали не только летом, но и зимой, пропуская сети в проруби. Чтобы не замерзнуть, много пили водки, голоса у них были сорванные, как у ворон, лица красные от загара

и холода. Муслим-абый воспринял возвращение сына спокойно, как спокойно он воспринимал любые события, включая слухи о новом перемещении села в связи с тем, что именно здесь, где оно стоит ныне, упадет очередной спутник Земли.

— Надо будет — пойдем туда, — говорил он. — Надо будет — пойдем сюда.

Его жена, сутулая, как и ее сынок, но уже старая, гораздо старше моей матери, Замира-апа, была смешлива и ласкова, с лицом, наморщенным у носика, как если бы она собралась чихнуть. Но она не чихала, а бегала возле печки, в которой стояло над углями, как восстание, красное пламя, носилась по двору, кормя кур и отгоняя чужую собаку, тюкая топориком чурбашки и готовя корове Танзиле (я запомнил, потому что напоминало Танзанию) ведро с водой и картофельными очистками. Увидев меня, редкого нынче гостя, останавливалась чуть ли не в полете, как оса, и даже не разогнувшись толком, быстро проводила ручонкой, сухой и жесткой, как кирпич, по моей щеке и, едва не ободрав ее, бормотала, тихо смеясь:

— Вот и ты подрос... А еще недавно я тебя в сенях чуть вместо валенка сослепу не надела... — Чудная она, и шутки у нее чудные. Мой братишка Ильгиз, конечно, в нее. — Привет матери передавай... А то увидимся — не узнаем друг друга, две старухи с усами.

Ну, это она напрасно — мама моя была в ту пору еще прямая, как девушка, несущая коромысло. А держалась мама так, потому что, во-первых, учительница в четырехлетней школе, а во-вторых, жена радиста села, ибо отец мой и был тот человек, который каждое утро в половине пятого будил деревеню музыкой Сайдашева (марш) или Бородина (“Богатырская симфония”), и потом добавлял от себя слова: “Ипташляр! Дуслар! Торыгыз!..” и то же самое по-русски: “Товарищи! Друзья! Вставайте для новых трудовых подвигов!” Правда, днем он становился обычным механиком на машинном дворе, но утром, вечером и по воскресеньям работал на этой праздничной работе. В карманах у него всегда лежали стеклянные лампы со множеством ножек и — как маленькие книжечки — конденсаторы. Наверное, по этой причине я и поступил на физмат университета, на только что открывшуюся специальность “горение”. Уверяли, что мы будем запускать ракеты в космос.

Наверное, только раз, а именно услышав о моем космическом будущем, на секунду позавидовал мне Ильгиз. Я увидел в его светлых кривоватых глазах тоску, и губы у него сплющились, словно зуб заныл.

— А можешь запустить туда меня? — спросил он.

— Не знаю пока, — честно ответил я. — Там, наверное, строгая очередь.

— Наверное, блат, — усмехнулся радостно Ильгиз, чтобы больше не думать о несбыточном. И предложил. — Хочешь, покатаемся под лодкой? Ты будешь спереди...

Но погода, помню, стояла хмурая, брызгал дождь, дул ветер (середине августа), и я отказался. И мой братишка, размахивая руками, пошел вниз к речке, одинокий, в стоптанных башмаках, мимо высокой травяной горы — крапивы и конопли — выросшей у плетня его дома. И это был наш последний разговор по душам.

После этого во время моих приездов Ильгиз со смущенной улыбкой стал увертываться от задушевных бесед, а затем он взял и женился. Я еще университета не закончил, но и двоюродному братцу не было двадцати одного. В народе говорили: пока нет очка, пусть будет веселой ночька!



Женил его Муслим-абый. Мать рассказывала мне, а ей рассказал отец, а ему — сам Муслим-абый: старый рыбак почувствовал себя плохо и вызвал на откровенный разговор сына. Разговор был такой:

— Ты как себя чувствуешь?

— Хорошо.

— А я плохо. Пока жив, хочу увидеть внука. Мы нашли тебе невесту из деревни Суук-Су. Она татарка, хотя фамилия Русины, но это неважно. Они нам дальняя родня, человек хороший.

Сын изумленно смотрел на отца светлыми, рысьими глазами.

— Пап, — сказал. — На дворе советская власть. Ты что?!

Муслим-абый мгновенно покраснел, словно вскинул на плечо лодку, и шепотом закричал:

— Тиба кто отиц?! Я или Хрущов? — и поскольку рыжий сын молчал, пораженный неотразимой аргументацией отца, более мягко добавил. — Да мы же не просто абы какую тебе девчонку сватаем... Ты ее знаешь! Зовут Назия! На свадьбу твоей сестры приезжали Русины! Такие беленькие... — и переходя снова для солидности на русский. — Тыри штука... сплошной малин!

И как мне позже поведал, чему-то усмехаясь, Ильгиз, он действительно вспомнил: прикатывали по золотой осени на телегах и мотоциклах из семи сел (он запомнил) родственники, и в том числе с мамашей три очень похожие друг на дружку узколистые девицы, с тонкими ртами, как щурята, помогали взрослым картошку чистить, полы подметать, посуду мыть. Которая из них Назия? Видимо, та, что постарше...

— Могу познакомить, — сказал Ильгиз в мой очередной приезд.

Он жмурился, словно дым ел ему глаза. Он как-то быстро оплешивел, от него кисло пахло вином и дешевой конфеткой. — Хочешь?

Я пожал плечом и, чтобы сделать ему приятное, предложил прокатиться на лодке.

— Под лодкой больше не хочешь? — спросил Ильгиз. — Да все лодки текут. Есть одна большая, для сетей... но если мы ее перевернем на воде, то вряд ли перевернем обратно. Разве что порыбачить?

Его отец лежал в районной больнице, увезли из-за постоянных болей в паху. Все ключи были у Ильгиза. Мы взяли бредень, блесны, весла и пошли. Я сидел на корме, держа в зубах, как это делают местные рыбаки, суровую нитку от блесны, и когда крючок зацепился за дно, порезал себе щеку. Мы остановились в камышах, посреди реки. Разделись донага... Я, человек еще не женатый и не знавший женщин, поглядывал исподлобья со стыдом и интересом на брата — нет, все у него осталось таким же, каким было... только еще более исхудал... Взяться за концы бредня, сползли в холодную воду (я ухнул по шею) и попытались пособирать плавающую здесь наверняка в лиловой воде рыбу. Нас сносило. Мы раза три выволокли на отмель пуды травы, и попались нам всего две-три тонкие уклеи, которых мы и собирать не стали. Вскарабкались на лодку, Ильгиз вынул из старого портфеля бутылку портвейна "Три семерки", и мы выпили из горлышка. Камыши держали лодку, в небе назревал вечер, но он был не таинственным, как раньше, а багровым, как нарыв. И стрижи, мелькавшие над водой, почему-то возле яра дрались. Как быстро менялась жизнь!

— У тебя дела с женой ничего? — спросил я. — Понимает тебя?

— Женщины — очень странные люди. Это даже не люди, это что-то другое, хотя с виду, как люди, — ответил Ильгиз.

И больше ничего не сказал.

Мы погребли назад, против течения, с трудом затащили огромное деревянное корыто на берег, оттащили мокрый грязный бредень на склад и зашли к Ильгизу домой. Молодая женщина в пестром сарафане, с заплетенными косичками на спине, сидела с ребенком в углу, под портретом Сталина. Увидев незнакомца, она быстро улыбнулась, показав остренькие зубы.

— Здравствуйте, — она говорила по-русски, как русская. — Ну, поймали что-нибудь? У нас ведь папа рыбак.

Пришлось признаться (мне), что не поймали.

— Ну, опять он уронил? — спросила Назия у меня.

— Что? — разумеется, не понял я.

— Достоинство, — сверкала она зубами, как маленькой белой короной, над дитем. — Наш папа идет и все время роняет достоинство.

И снова я не понял ее. Станный у них тут юмор. Все острят. Правда, Ильгиз в эту минуту, уныло морщась, смотрел в окно. Там ничего особенного не происходило — петух гонялся за курами, постаревшая Замира-апа крошила что-то в таз, ветер тащил солому по двору.

— У вас папа радист, вы, наверное, тоже разбираетесь? Может, наладите?.. — Назия кивнула на старинный репродуктор, который висел на стене, напоминая черное солнце.

Я снял его. Бумага резонатора была кое-где порвана. Проволочки под мутным клеем сбоку казались целы, но вибрация при включении не возникала. Послюнив пальцы, сунул в розетку — ток шел. Надо менять допотопный репродуктор.

— Это я сама знаю, — сказала жена Ильгиза. — Я привезла сюда радиолу "Рекорд", но они ее уронили. Все время роняют достоинство. Ну, ладно старик... Он старый. А ты, Ильгиз? — И, не глядя на него, она снова обратила ко мне свои смеющиеся открытые зубы. — Собрал в ведро на задах радиобудки всякую всячину... поставил в сенях. Уверяет, что обязательно там что-то само собой замкнется и заговорит.

Ильгиз смахнул со стола шпильки с нитками и выскотил прочь. И я, виновато улыбнувшись женщине, вышел вслед за ним. Да, когда-то, будучи совсем еще пацанами, мы смешивали в плошке всякие перегоревшие лампы, провода, конденсаторы... Вдруг по теории вероятности что-то само собой получится. Но не получалось.

А через несколько дней в селе стало известно, что молодая женщина Назия бросила Ильгиза и, взяв ребенка с русским именем Вася, уехала на попутной машине в свою деревню.

— Ой, позор!.. — заговорили баевцы. — Мужчина может бросить женщину, но женщина не может бросить мужчину... Это какой же должен быть мужчина? Он тогда просто не мужчина. У него что-нибудь не так.

Но совсем уж не так не могло быть — никто не мог подвергнуть сомнению факт, что ребенок от Ильгиза. Его хватил на один раз? И он сложил оружие в музей победы? — толковали смешливые бабы. — В музей славы?

Из больницы вернулся старик (у него вырезали гнойный аппендицит), поблекший, тихий. А тут его поджидала новость. Он попросил сына подойти поближе и ударил по

рыжей голове — и сломал руку. Правда, позже выяснилось, что не сломал — вывихнул кисть...

Ильгиз запил, ходил по берегу Протоки и что-то бормотал, глядя в мелкие воды (куда же ушла отсюда сама Река, главная, отделившая от себя эту малую?), а мне уже подошла пора ехать по распределению на работу в Куйбышев, на секретный пороховой завод. И я уехал, не зная и не умея хоть как-то помочь своему братцу. Мы простились, можно сказать, на бегу — я заходил в магазин купить папирос “Север”, а он как раз выныривал оттуда с тяжелой бутылкой во внутреннем кармане мятого пиджака. В сумерках сельпо блеснул лысой уже головой, кривоватые, некогда рысьи глаза, были желты...

— Уезжаешь? Не хочешь больше под лодкой поплавать? — то ли с надеждой, то ли с издевкой спросил он.

По улицам летела желтая листва. Какое может быть плавание, да еще голышом в воде. И я пожал Ильгизу руку — вялую его руку — и не видел двоюродного брата своего года три или даже четыре...

## 2.

За это время в стране произошли страшные события: коммунисты свергли вольнолюбивого Никиту Хрущева и умер Муслим-абый. Он, рассказывают, страдал из-за сына, левая рука отнималась, не та, которой ударил сына, другая, и в сердце что-то время от времени журчало, как в животе, и все из-за него! Разве мужчину вырастил? Ходит по лугам, цветы собирает-нюхает. Или вдруг купил дешевый детский диафильмоскоп и в сарае показывает соседской малышне по кадрам эти цветные глупые фильмы. А уже у людей телевизоры появились! И можно в ДК пойти, настоящее кино посмотреть! Так нет, заывает детишек, мальчиков и девочек, в темную клеть и, повесив старую простыню на два гвоздя, крутит вручную ленту, светя сзади в аппарат фонариком. И самое странное — дети к нему идут, смотрят. А он им негромко читает титры: “И прыгнула Снегурочка через костер — и растаяла...”

В народе пошел слух, что Ильгиз не просто так малолеток заывает в сарай, а портит их. Но слух не подтвердился. Однако детишек все-таки напугали, и лысый, с рыжими космами небритый человек стал сам себе показывать диафильмы в сарае. Пьет и крутит пленку. Над головой возятся и с кудахтаньем слетают вниз куры, за стеной дышит шумно и страстно корова, будто желая также посмотреть на красочные картины сказочной далекой жизни, но не стоит ей показывать кино — народ окончательно решит, что Ильгиз сошел с ума.

Для старого отца и существующих странностей сына хватило. Он однажды с утра выпил много водки (три или четыре стакана, как потом вспоминала Замира-апа), поднял на плечо валявшуюся у плетня “душегубку” и сошел к реке. Но он забыл, что лодка со щелями. Где-то возле старой мельницы хотел стать на “якорь”, да камень отвязался, а лодка осела и чуть под бревна и прутья дамбы не ушла... Там метра три глубина. Старик вымок, наглотался воды, еле вытянул долбленку на берег и попытался на себе уволочь в деревню, но тяжело — бросил... Хватаясь за сердце, доплелся до окраины, однако домой не пошел — спустился снова к реке, освежиться. Зашел в воду и упал лицом вниз. Его за ноги вытащили мальчишки. Они кричали:

— Главный рыбак что-то увидел!..

Они решили, что он глянул в воду и что-то страшное увидел. И от этого умер. Может, это была трехметровая щука? Но старик-то умер от тоски и стыда за сына.

Я приехал к близким уже не юным тоже, краснощеким Ринатом, чье имя при повторении превращалось в Натрий. И на мою долю выпали вполне горькие испытания. Назову лишь одно: на испытательном полигоне в пяти метрах от меня взорвался реактивный двигатель (КБ академика Микулина)... У меня глаз до сих пор дергается, когда посмотрю на яркий свет... Приехав в свое родимое Баево, я не сразу вспомнил о двоюродном братце. Выпил с отцом коньяку, похожего на сладкий керосин. Посидел возле купленной им где-то зеленой военной рации — ловит все радиостанции мира и даже вражеские голоса. Поговорил с мамой о невозможности моей жениться в ближайшее время (ну, нету девушки, которую бы я полюбил, как папа полюбил ее!). Выспался на мягком старом диване, да еще с расстеленным тулупом... И уже утром, выйдя на крыльцо, увидел: изба Ильгиза совсем заваливается, подперта свайками слева и спереди. Плетни упали. Ворота стоят без крыльев, а вот калитка осталась, но зачем ее отпирать и в нее входить, если рядом — пусто, как на улице.

— Что это у них так? — спросил я у родителей.

Отец молчал, сердито слушая комментарии “Би-би-си” о новом пленуме ЦК КПСС. Мать рассказала, что после смерти Муслима-абыйа Ильгиз как бы по наследству был назначен бригадиром рыболовецкой артели. Какое-то время ходил с серьезным лицом, даже в галстуке. Но потом стал снова пить, продавать тайком в соседних селах рыбу, сети... Его уволили. Он слег с язвой желудка. Потом устроился охранником в сельском клубе. Стал там по ночам сам себе и всем желающим полночиникам крутить кино... Ему, понятно, несли водку и закуски... Особой любовью алкашей села пользовался Чарли Чаплин. Особенно то место, где брэнчала музыка, под которую советский народ сочинил замечательную песенку:

*На палубе матросы  
курили папиросы,  
а бедный адмирал  
окурки собирал...*

Все кончилось тем, что Ильгиза уволили и из ДК, и он совсем опустился — оборвался, как Плюшкин, обросший, ходил днями и ночами вдоль Протоки и что-то, говорят, декламировал. Школьники подслушали: он читал стихи. Какие — непонятно, но он мычал, кричал в шуме ветра именно стихи. Один раз простонал громко: “Здесь будет город заложен назло надменному соседу...” Ясно — Пушкин.

Жена его в Суук-Су, по слухам, давно замуж вышла за другого человека, который дал свою фамилию ребенку. Как-то было, рассказывают: Ильгиз побрился, оделся во все чистое и поехал на велосипеде за синий бор посмотреть на дите, подарить ему конфет и панамку на голову, но гостя в избу не пустили. И больше он туда не пробовал попать.

Об Ильгизе стали рассказывать, что он вечерами на огородах подкарауливает одиноких женщин, которые моются в бане. Заглянет в окно и смеется. Еще недавно его боялись, еще недавно презирали, а тут и жалеть стали. Много у нас вдов и старых дев, готовых отмыть мужичка, причесать, в красный угол посадить.

Одинокая русская учительница Людмила Васильевна, которая ходит без платка и даже тайком курит, встретила

Ильгиза на улице и при всех к себе повела. И тоже, пока шли, стихи читала:

— Люблю Отчизну я, но странною любовью...

Кто-то, говорят, подглядывал вечером в окно — они пили чай, включив проигрыватель. Людмила меняла пластинку и уронила, разбила вдребезги и расхохоталась. Потом мужчину отдельно от себя на раскладушку уложила. Но это, наверное, пока свет включен. Ильгиз ночевал у нее и на заре сбежал, прихватив блокнотик — учительница подарила, чтобы он записывал свои оригинальные мысли...

Потом он оказался в цепких руках Фаи, молодой, скуластой уборщицы маслопрома, от которой все время пахло скисшей сметаной. Она недавно похоронила мужа-старика (старше ее на двадцать два года), не плясала в ДК так, что сломала каблук новой туфли. Неизвестно, что уж она делала с Ильгизом, но она сама его рано на рассвете, со вторыми петухами, вытолкала из сеней со словами (народ все знает):

— Иди, несчастье наше... И не возвращайся.

И он пошел в тумане, одинокий, с рыжими патлами волос над ушами. Наверное, вправду что-то угасло в душе Ильгиза: он, встречая женщин, не видел их в упор, словно они и столбы с проводами — это было одно и то же.

Мать его, Замира-апа, слегла, скрючилась от ревматизма, ее взяли в дом ее родной сестры. И оставшийся один в избе, Ильгиз впал в ничтожество, как сказали бы романисты девятнадцатого века. Моя мама носила ему кашу в кастрюле и даже пиво, но он только пил и ничего не ел.

Об Ильгизе вспомнил дальний родственник, дядя Надир, который с покойным Муслимом вместе воевал на Отечественной войне, и где Муслим спас его, раненого, от верного заражения крови: чтобы извести багровые фурункулы, достал среди зимы дегтя.

Вот я его и увидел в селе, этого родственника. Высоченный, в сверкающем, как бы алюминиевом плаще и такой же кепке, он стоял вместе с Ильгизом на пустыре, за покрякивающимся домиком Ильгиза, и размахивал руками. Ильгиз был одет попроще: в кожаную куртку, в джинсы, в полусапожки. Наголо острижен. Встретясь он мне на улице в других краях, я бы его не узнал. Рысьи глаза померкли. Только смущенная кривая улыбка осталась прежней. И тихий голос:

— Давно приехал? А это — дядя Надир.

— Надир-командир, — густым баском откликнулся могучий дядька, с бровями, как у Брежнева, с усами, как у Сталина, в очках, как Андропов, и охотно объяснил мне, почему он выбрал для строительства своего коттеджа именно наше, пусть и бедное, пусть и далекое от хороших дорог село. Надир Абдурахманович работает на КамАЗе, и даже не на КамАЗе, а рядом, но это не имеет значения, малыш, пусть будет — на КамАЗе... Заработал кучу денег, но ведь не съешь их, даже если захочешь... А на старости лет появляется желание осесть именно на таком берегу, возле тихой речки, где напротив — красноствольный смолистый бор... Так вот, тут встанет двухэтажный дом из красного кирпича, малыш. Но изнутри он будет деревянный. Чтобы воздух был, малыш. И строить его начнут со следующего понедельника. А дорогой родственник, сын покойного однополчанина Ильяс Муслимович останется здесь в качестве сторожа, неподкупного и внимательного. Сурового и бессонного, малыш. Я ему даже наган дам! — Денежный человек расхохотался. — Очень похож на настоящий... Из Америки... А пока вот вам!

Вынул и протянул нам с Ильгизом, как малым детям, по тонкой плиточке жвачки. Затем обнял моего братца — и к его ноге осторожно подкатила сизая лакированная иномарка. Надир-абый сел в машину и, вызывая злобу деревенских собак, мягко покати прочь...

Я думал, Ильгиз пригласит меня теперь к себе в избу, но он стоял, смутно глядя под ноги. Пойти же ко мне отказался.

— У меня работа.

Постоял и побрел в один из своих покосившихся сараев. Зачем?.. Наверное, просто так.

Через несколько дней на пустырь трактором привезли на прицепе алый кирпич, серо-зеленый цемент, потом — со вторым заходом — отесанные уже бревна с номерами... Появились городские рабочие в темных тряпичных куртках и штанах... Началась работа. И все это время в стороне бродил взад-вперед Ильгиз с газетой в руке. Он был в старой шляпе отца и сумрачен. Увидев меня, отвернулся.

Я в обиду на него перестал и заглядывать на пустырь. Но вскоре мне мать прошептала (она всегда шепотом сообщала невероятные новости):

— А наш Ильгиз-то пьет.. Кирпич по ночам на сторону продает... Цемент...

В сердцах я пошел с ним поговорить. Ненадолго же хватило его. Но Ильгиза нигде не было. Бригадир рабочих, ожидавший автобуса, чтобы ехать домой, в Набережные Челны, угрюмо сказал:

— На лодке уплыл с утра, обещал нам рыбы — и нету.

Я вышел на берег — ни в камышах, ни вдали лодки не было видно. И уже хотел уйти, как увидел ее — лодка (перевернутая) валялась у основания огромной ветлы, которую мы называли вечной. Уж не там ли и сам он лежит? Я, матерясь, подбежал — точно. Ильгиз спал под лодкой на равной, наверняка чужой, ватной телогрейке.

— Ильгиз? — позвал я его.

Он поморщил нос, словно хотел чихнуть (так делала его мать, Замира-апа), с трудом разлепил веки и, узрев меня в сумерках, смущенно кривясь, пробормотал:

— Хотел рыбу половить... Дырявая... Я больше не буду пить.

И не пил сутки. Как раз приехал Надир-абый, привез ему огромный железный — впрямь, как настоящий — наган. И мой братишка два-три дня сидел на табуретке возле стройки, высоко подняв голову, с оружием на коленях. А потом исчез, продав перед этим, говорят, свою игрушку охотнику магазина за десять бутылок "Мадеры".

Мой отпуск скоро заканчивался. И я решил до отъезда всерьез объясниться с гибнущим двоюродным братом. Его нигде не было видно. Ильгиза я не нашел ни под перевернутой лодкой у Протоки, ни в сараях, где висели драные черные сети и уже не квохтала ни одна курица. На сенях же висел замок, и не сразу я обратил внимание, что окно, выходящее в палисадник, приоткрыто. Я заглянул в избу: сверкнув круглыми зеркальными глазами, на меня фыркнула какая-то кошка, и, отшатнувшись, я все же успел увидеть — на кровати кто-то лежит. Подтянулся, внимательнее всмотрелся — так и есть: Ильгиз. А замок он повесил, чтобы его не беспокоили.

Я перелез через подоконник и спрыгнул на пол. Здесь было темно. Вонючий воздух был спертый, как в старых колхозных гостиницах. Печь давно не топили. Ильгиз спал одетый, в седоватой щетине, в носках, положив шляпу на грудь. Постель грязная, истерзанная, и на ней лежат кошки

— рыжие, белые, пестрые — в ногах и возле ушей Ильгиза. Жмурясь, они мурлыкали и дремали, пока в избу не вошел чужой человек. И одна-две тут же спрыгнули на пол, повалив стоявшие возле кровати пустые бутылки из-под вина.

— Ильгиз! — сказал я. — Ильгиз!

Он трепетнул веками, но не открыл. И не встал. Он, конечно, проснулся, но не хотел со мной говорить. На следующий день приехал суровый НаDIR-абый и увез белого, как мука, безвольного Ильгиза в райцентр, в больницу. Говорили, что несчастного положили в палату для психов. На пустые сторожил теперь незнакомый парень с берданкой. На ночь он залезал в сруб и спал на мягких матрасах стекловаты.

Надо сказать попутно, что с началом строительства в деревне именно этого коттеджа появилось много чужих людей и стали пропадать куры и даже телята. Но не пойман — не вор! На вид рабочие казались вполне пристойными людьми, даже у некоторых красные веревочки были надеты на головы, как у художников. И скуластая Фая уже пустила к себе одного из строителей, чтобы ему не мотаться из деревни в город. И учительница Людмила Васильевна днем порой перекидывалась по-русски с заезжими людьми и громко смеялась.

Мне уже пора было уезжать. Я, выписавшись из Куйбышева, устраивался в “почтовом ящике” на Урале.

— Что это за “почтовый ящик”? — спрашивала мать. — Военный городок?

— Не знаю, — отвечал я. — Знаю, что он в горе. Там и ракеты.

— А если взорвутся?..

На что отец резонно пояснял, оторвавшись от газеты “Правда” или радиоприемника:

— Так ведь и метеорит может погубить планету. Пока не погубил, живем.

— Но это ужасно, — вздыхала мама. — Жить и ожидать, что в любую секунду...

— Тем больше надо ценить жизнь, — философски сворачивал на семейные дела отец. — А ты сердись на всякую ерунду. Посмотри, какое небо... Как мед...

— Мед? — восклицала мама. — Тот, который ты купил на базаре, не мед, а сладкая вода. А мясо, которое ты привез из райцентра, не мясо, а кости. А дрова, которые ты свалил во дворе, не дрова...

Отец набрасывал на уши огромные советские наушники, и мама оскорбленно замолкала. И опять вспоминала, какую же опасную профессию я приобрел.

— Вот Ильгиз, — говорила она, — божия птичка.

— Ты хочешь, чтобы я был как Ильгиз?! — потрясенно спрашивал я.

— Я нарочно... — шептала мать. И добавляла новость. — Ему, говорят, что-то зашьют, и он, если выпьет, то умрет.

И я уехал из родных мест, с болью думая о двоюродном брате и друге. И не был здесь... сколько? Десять лет? Пятнадцать? Отец и мать давно перебрались в райцентр к старшей моей сестре — у нее родились дети, и надо было нянчить. К тому же мама моя с деревенского своего детства мечтала пожить в городе, хоть в маленьком. Не зря же город по-татарски “шэхэр” — почти как “сахар”! Это не относится к моему “подземному” закрытому городу — туда мама побоялась бы даже в гости на день заглянуть...

3.

И вот нынче летом, — а именно зябким, ветренным летом 1995 года — я вновь оказался в деревне Баево, расположенной на берегу Протоки, малой желтой речонки в камышах и купавках, намекающей своим названием, что сама река ушла куда-то за горизонт и там течет, сверкая необъятным зеркалом, и я не узнал деревни. Здесь выросли этакими сахарными уступами белые и красные каменные хоромы, с гаражами, с флюгерами на европейский манер и стрельчатыми окнами. Можно было тереть глаза и до дна их протереть, но картина не исчезала.

Зато куда делись милые сердцу деревянные избы, с соломенными еще недавно крышами, а затем и дощатыми, с плесенью и травкой наверху — хоть козу паси?! Избы эти или вовсе сгнули, как наша изба, — на ее месте неразличимая ямка, или стоят заколоченные, или превратились в бани, склады... А от кривого жилья с подпорками, в котором жил Ильгиз, даже тени не осталось.

Но вот этот коттедж, обнесенный высоким забором, — это же тот самый коттедж, который строили для могучего человека с КамАЗа? Наверное, здесь знают, где Ильгиз.

Я постучался в калитку — с той стороны забора зарычал пес. Я отошел от калитки подальше, чтобы видны стали окна, и замахал руками, надеясь, что меня увидят и откроют.

Через некоторое время послышались неясные слова, звон цепи, и в приоткрытую калитку выглянула незнакомая хмурая женщина.

— Кем кирык? (Кто нужен?)

Я не сразу вспомнил нужные, как можно более вежливые татарские слова, поэтому спросил по-русски:

— Извините... Мне бы Надира Абдурахмановича.

— Белмим, — был резкий ответ.

Не знает. Она ничего не знает.

— Да как же так?.. — хотел я спросить у недружелюбной женщины, но калитка уже захлопнулась. — А Ильгиз? Ильгиз? — закричал я поверх заплота.

Проходившая мимо старушонка в цветастом платке, в длинном цветастом платье и в галошах, остановилась и пристально посмотрела на меня.

— Кого ищешь, парень? Совистку власть?

— Ильгиза. Сына рыбака.

— А-а. — Старушка долго молчала. И когда я уже хотел взволноваться, знает она о нем или нет, продолжила. — В тюрьма сидит.

— В тюрьме?! За что?!

— Белмим, — отвечала местная долгожительница.

Она не знает, тоже ничего не знает. Но, судя по гримасе, слышала какие-то ужасные вести.

И я вспомнил: большую, сгорбленную мать Ильгиза забрали в семью ее сестры, а фамилия их Фатыховы. Я спросил:

— Где живут Фатыховы?

Старушка ответила:

— Балякай ей... (Маленький дом).

И показала в сторону кривой деревянной пожарки. Гдето там.

Дом и вправду оказался маленьким. Сейчас в таких избах не живут. Маленький игрушечный двор, маленькое крыльцо, два маленьких окна, глядящие во двор. Я постучал в зеленое волнистое окно — на крыльцо выскочил подросток в тельняшке и джинсах, с зеленкой на губах и на ушах.

— Привет. Замира-апа жива?

Он поднял брови и так и застыл — видимо, имя слышал, но бабушка умерла до его появления на свет.

— А Ильгиза-абыя знаешь?

— Да! — он закивал. — Да! — И радостно. — Он в милиции.

Милиция у нас в райцентре. Как же мне ни мать, ни сестра не сказали ничего про Ильгиза? Или не знают? Я им сразу, как приехал, заявил: еду к Ильгизу... А чтобы не гадали попусту, по какой причине, разъяснил: порыбачить хочу!

— Кого ищите? — раздался женский голос, и в воротца с улицы вошла молодая татарка с коромыслом на плечах. — Сынок, надо в дом пригласить. А то стоите, как на улице.

Каким-то дальним сходством она напомнила мне Замира-апу. И уже более уверенный, что нашел нужный адрес, я сказал, кого ишу.

Смутное лицо молодой женщины опечалилось. Она поставила полные ведра на доски крыльца, повесила коромысло на гвоздь около двери снаружи и занесла ведра в сени. Потом пригласила меня в избу.

И через несколько минут я уже знал, что ее зовут Анфиса, ее мать Фахарниса умерла. Замира-апа еще раньше, они рядом похоронены, а муж Анфисы уехал на заработки в Тюмень. А с Ильгизом произошла такая странная история.

Он вышел из больницы непьющим. Но и мало кого узнавал. Тихо шел мимо, иной раз что-то беззвучно приборматывая. Верующие старухи говорили, что он испугался смерти, стал в Бога верить, и это правильно. А деревенские пацаны доказывали, что это он стихи Лермонтова читает на память, про день Бородина.

К этому времени коттедж дяди Надира был уже под малиновой жестяной крышей, дядя НаDIR поставил внутри сырых каменных стен самодельные огромные электрические обогреватели, и Ильгиз там стал жить. Перетащил в новый дом постель, кое-какие книги и одежду. И кошки с ним перешли. А собственная его изба в одну темную ночь сгорела. Ходил слух, что Ильгиз только на вид наивный, а по сути хитрый, хочет содрать с государства страховку, но все успокоились, узнав, что изба не была застрахована. Тогда снова стали жалеть Ильгиза, как блаженного.

Так прошло несколько лет. Строительство замирало и снова длилось. Дядя НаDIR вез и вез из Набережных Челнов в свой поднимающийся к небу коттедж все, что в городе ему уже не нужно: кованые старушечьи сундуки, примусы, старые телевизоры и приемники, полушубки, тулупы, валенки, керогазы (а вдруг еще пригодятся), а когда в окнах встали уже не картонки, а настоящие рамы со стеклами, Ильгиз стал топить печи. Сельсовет заставил дядю Надира включить, наконец, электросчетчик, и дядя НаDIR решил, что дровами обогревать выйдет дешевле. Да и для Ильгиза радостное дело — он любил сидеть и смотреть в огонь. Он почти не выходил на улицу — разве что во двор чурбаки поколоть или в магазин за едой. И таким образом превратился в живую душу этого угрюмого казенного дома, похожего на райком партии.

Самое интересное началось, когда на грузовике привезли обмотанный одеялами и тряпками и обвязанный множеством веревок рояль. И под присмотром самого хозяина осторожно занесли на второй этаж. Когда распаковали этот огромный, из красного дерева, инструмент с белыми и черными клавишами, с иностранными буквами "STENWEY", Ильгиз чуть не упал лицом вперед от восхищения. Дядя НаDIR сказал, что вот он вешает градусники на стенах — и

нужно отныне делать все, чтобы температура в зале не менялась — была ровно девятнадцать. Можно восемнадцать. Но не ниже. Иначе рояль испортится. Хотя на вид останется тем же. У него, у НаDIR-абыя, дочь играет на рояле, она сейчас в Турции и во Франции концертирует, но обещает летом приехать на родину. И этот день будет его, дяди Надира, триумф — мы перетащим рояль в клуб, и дочка там сыграет великие произведения Жиганова и Сайдашева, Моцарта и Чайковского.

— Топи, дров не жалея. Сохранишь рояль — свожу тебя в далекие края. Хочешь в Крым?

— В Италию, — попросил, стеснительно смеясь, Ильгиз.

— Будет тебе Анталия, — отвечал могучий дядька с усами, как у Сталина, с бровями, как у Брежнева, и в очках, как у Андропова. — Только чтобы никто к роялю до приезда моей дочери не притрагивался, не вздумал отпереть.

Год прошел, и два прошло — дядя НаDIR не появлялся и не появлялся. Ильгиз сжег в печах все заготовленные дрова и остатки-головешки своего старого дома, и ветхие сараи разобрал, и уже принялся собирать хворост вязанками в далеком синем бору, как вдруг в село нагрянула милиция. Они велели Ильгизу не двигаться, пригласили понятых из соседних домов и устроили обыск — вскрыли кривым гвоздем рояль и нашли в нем свертки с золотом и драгоценными камнями. А из ящика, где струны, вынули всякие хвосты — красно-рыжие, лисьи, и голубые, соболя. После чего Ильгиза арестовали и увезли в район.

— Мы все тут письмо написали, — рассказывала молодая женщина, — что он честный и доверчивый... Что он наверняка ничего не знал... Просто топил печи, охраняя дом и оберегая рояль от сырости...

Потом стало известно, что под Саратовом нашелся НаDIR-абый, что он обманул людей и ему придется сидеть в тюрьме. А Ильгиза освободили, но, так как он все время морщил нос и тихо смеялся, его из милиции сразу завезли в психбольницу.

Но когда он оттуда вышел, дело как раз вернули на доследование. И бедного Ильгиза снова арестовали. Выяснилось, что в село приезжал под стражей сын дяди Надира, Федор (очень похожий на отца, с большими бровями и в очках, только без усов) и при всем народе показал бумагу с печатью, из которой следовало, что еще с прошлого года хозяин каменного дома — Ильгиз, и стало быть, рояль, золото, все принадлежит Ильгизу! А он, Федор НаDIRович, и сам НаDIR-абый, который сейчас слег от стыда и позора, они — простые люди, они не отрицают, что в знак уважения к памяти Муслима-абыя, помогли его сыну построить жильё... И в завершение своей удивительной речи молодой, под два метра ростом, человек обратился к следственным работникам:

— Валлахи!.. Спросите у всех, кто тут стоит, знает ли хоть кто-нибудь, чем занимался все эти годы Ильгиз?

Милиция оглядывалась, делала строгие глаза, и многие сельчане смятенно отвечали, что не знают. Надо же какой все-таки хитрый оказался Ильгиз. Его тут жалели, а он, может, целую тут группу девушек содержал. Надо в подвалах посмотреть, нет ли отрезанных кос...

Масла в огонь подлило еще то обстоятельство, что, пока дом стоял заколоченный и опечатанный, оттуда исчезли многие вещи: зеркала, полушубки, посуда, альбомы с картинками и даже медные струны из рояля. И хотя Ильгиз никак не мог быть в этом виноватым (да и зачем ему воровать

у самого себя, если он хозяин?!), сын дяди Надира повернул дело так, что у него, у Ильгиза, в селе Баево много сообщников, что они и есть незаметная, но опасная современная мафия...

Баевцы могли любую красивую напраслину на свой счет принять, но чтобы оказаться опасной современной мафией... Плюясь, народ разошелся по домам, снова жалея непутевого лысого Ильгиза.

А что касается следствия, не надо было иметь пуд мозгов в каждой голове с погонями, чтобы понять: Ильгиз тут совершенно ни при чем. Его освободили, он вернулся из райцентра в село на попутном грузовике с мукой и сахаром, и первое, что он сделал, весь в белом, — подошел к каменному дому и стал бить звонкие зеркальные окна камнями. Ильгиза никто не трогал — дом-то, получается, его!

Но ехал мимо на мотоцикле участковый Харис, остановился, погазовал на месте, не решаясь на действие, и все же усадил безропотного странного человека на заднее сиденье и увез обратно в райцентр, в милицию. Откуда его тут же — в который уж раз — передали в психбольницу, в алкогольное отделение.

Я выслушал молодую женщину, нашу общую с Ильгизом дальнюю родственницу (только нет в моем современном языке обозначения, кем же она мне придется? Жена сына сестры матери Ильгиза...), и, поблагодарив, побежал на околицу — кто-нибудь да подберет меня по дороге в райцентр, в нашу маленькую местную столицу...

Добрался уже поздно вечером, под студеным многозвездным августовским небом. Ничего не сказав матери и сестре, лег спать в чулане, как бывало, на тулупах... А утром, рано на заре, когда запели петухи и заверещало радио в домах, купил на базаре пакет нежных антоновок и пришел в больницу.

Конечно, райцентр не вышел чином — никакой настоящей психбольницы он не имел. Но при райбольнице были две маленькие, узкие палаты, мужская и женская — для алкоголиков, вставших в белую горячку, для наркоманов и вообще для всех “неадекватных типов”, как бегло и высокомерно мне объяснила на входе медсестра.

“Да, медсестра, — подумал я, вспоминая наши с Ильгизом детские упражнения со словами. — Ты не медсестра. В лучшем случае, медсестра”.

Впрочем, она мне сказала, что больного с удовольствием выпишут, если у меня есть паспорт и я хочу забрать человека. Конечно, заберу! Ах, где же ты, мой двоюродный брат?!

На койке, заправленной байковым коричневым одеялом, возле черной, ржавой батареи отопления лежал изможденный — иного слова не подберу — угрюмый, с длинными рыжими и белесыми бровями над ушами человек. И лишь по кривой смущенной улыбке его сухих, бесцветных губ я мог догадаться: это Ильгиз.

Броситься бы, обнять друг друга... Но я растерялся. А он тоже — смутился, сел, начал шаркать ногами в носках, пытаясь вдеть тапки, а тапки все в стороны отлетали. Наконец, поднялся. Я пожал его вялую длинную руку.

— Домой поедешь? — спросил я. — Анфиса говорит — можешь жить у нее.

Он пожал плечами. Я видел, что в глазах его идет какая-то иная, непонятная мне жизнь. Не то, чтобы ему безразлично, куда его дальше поведут, повезут... Нет, как раз наоборот — интересно... Но вот только он сам пальцем не ше-

вельнет, чтобы что-то для себя сделать, попытаться изменить течение событий.

Негромко он спросил, как мои. Хотел крикнуть в уши, как глухому: почему же не постучался к моим родителям? Или почему мне письмишко не написал? Мы вышли из больницы, как барак, больницы и стали на перекрестке, на удущающем, хлорном ветру ждать попутного транспорта.

— Пойдем пешком? — буркнул он, жмурясь от света.

— Прямо до деревни?

Поля вокруг нас были желты до горизонта новым урожаем, солнце горячо грело, доносился запах березового дегтя. В ослепительной, почти черной иногда вышине кружил коршун. Нас догнала арба, вернее, бестарка. Лошадь шла, задумчиво кивая сама себе головой. Или это я не увидел оводов?... А на телеге сбоку сидел пацан с рыжей, как у Ильгиза когда-то, головой.

— Садитесь, бабаи!

Ничего себе “бабаи”? Это мы-то старики? Но разве он не прав? Конечно, старики. Мы сели по разные стороны, чтобы телегу не вело, и я, оказавшись рядом с мальчишкой, спросил, как нынче рыбалка.

— Вся рыба ушла в Каспийское море, — сказал мальчишка.

— Почему? — удивился я.

— А потому что Волга впадает в Каспийское море. А в Волгу — все остальные реки...

“Ах, дитё! — хотелось мне ему объяснить. — Кроме Волги есть еще в России Обь, Енисей, Лена, Амур...” Но ничего не сказал. Вырастет — сам узнает.

Как это часто бывает в августе, тучи внезапно сомкнулись на солнце, и двинул дождь, и поднялся ветер. И снова посветлело, но тепла уже не было.

Продрогшие, мы брели по родной деревеньке Баево. Нам встретился на мотоцикле участковый Харис со смеющейся девчонкой на заднем сиденье. Наверное, дочь. Счастливый.

— Эй! — закричал. — Ильгиз, родной! Хоть дом и вернули этим дельцам, следствие продолжается. Не сбежишь?

— Куда?... — откликнулся я удивленно. Мол, о чем вы?

— Он сказал — в Турцию.

Да пошутил, конечно. Я оглянулся на Ильгиза — он смотрел на Синий бор, в сторону Суук-су, и наверное не слышал нашего разговора. Нет, он все слышал. Когда мотоцикл с треском уже отъехал, он прошептал:

— В Италию... В Италию, господа... — И мечтательно сглотнув, вытянув шею, тихо прочел:

— Близ мест, где царствует Венеция златая, один, ночной гребец, гондолой управляя...

И замолчал, не переставая улыбаться своей странной улыбкой.

И я впервые всерьез подумал: а может, вправду, он сумасшедший? Но почему он непременно должен быть сумасшедшим, если стихи любит или любит всю жизнь странности? Тогда и я сумасшедший, если я любил с ним сплавляться под деревянной шляпой — лодкой — или если смешивал в ведре лампы и провода, надеясь, что само собой там что-то соединится и заговорит?

Мы долго стояли на берегу Протоки. Дул сладкий сырой ветер чистого пространства, на реке стояла пара лодочнок — кто-то рыбачил. Наверное, на червя. Но вот один из мужичков приподнялся — и я услышал через мгновение хлесткий звук выстрела. Не хватает еще гранат... Неужто и сюда придет современная страшная охота?

На месте, где некогда стоял дом Ильгиза, с его сараюшками и клетями, высилась гора коричневой травы.

— А лодки... все сгнили?

— Нет, — он тихо улыбнулся. — Одна, самая большая, еще цела.

— Давай сейчас сплавим, как когда-то...

Он удивленно посмотрел на меня и кивнул.

— Ты ведь не считаешь, что я ненормальный?

Вечер был холодным, но — да не умрем. Я купил в магазине бутылку вина “Три семерки” (через многие годы этот портвейн снова появился), кулек конфет “Киевская помадка” (тоже из детства), и мы сошли к берегу Протоки, к великой ветле. Над нами зашелестели, запротягивались купы меняющей ежесекундно цвет листвы.

Лодка, ушедшая боком в песок, была огромна, как та, которую не мог сдвинуть Робинзон. Но мы приподняли и столкнули-таки черное судно в рябую воду. Глотнули из горлышка вина, разделись и отнесли одежду под ветлу — будем надеяться, не украдут.

Допили вино, выбросили бутылку, оттолкнулись. И, чтобы не задрогнуть на ветру, сразу же перевернули лодку и нырнули под нее.

Мы стукнулись головами под гулкой деревянной крышей. Мы хохотали, как дураки, мы плыли в полной темноте, держась за поперечную скамейку. Но вот стало брезжить дно реки, видны камни... Проплыла стайка уклеек... Все, как много лет назад.

— Слушай, — спросил я. — А ты так и не полюбил никого из женщин?

— Полюбил, — отвечал он, поднимая ноги, чтобы не зацепиться за траву. — Но я же из-за отца женился.

— Но сейчас ты свободен!

— Сейчас у нее уже дети. — Ильгиз, как змея, повернув голову, уставился в движущиеся сумерки воды. — Как-то встретились на улице, посмотрели друг другу в глаза... И все поняли. Но не судьба. А у тебя как жизнь?

— Закрытый военный город. Умная тихая жена. Тоже ученый человек, тоже что-то военное делает. А выяснилось, что на нас никто не собирается нападать. Продаем другим странам, чтобы они там кого-то другого убивали. Ах, братишка, у меня такое чувство, что не так, не так жизнь прошла...

— Ой!.. — вдруг сказал Ильгиз и куда-то пропал. Я вынырнул из-под лодки — он плыл к берегу. Что такое?.. Я догнал его — он выпрямился на мели и держался ладонью за живот. Кажется, была расцарапана кожа.

— Что такое?!

— Ерунда. На сваю наткнулся...

Мы пошли против ветра по песку к мосту. И только сейчас я вспомнил о брошенной лодке — метнулся назад, вбежал в воду, поплыл, догнал и потащил наше корыто за веревку против течения.

— Мог бы и бросить... — ежился Ильгиз.

— Зачем? Пригодится.

Через полчаса мы сидели под ветлой, одетые, жгли костер. Я сбегал в магазин, принес еще вина, и мы кое-как, наконец, согрелись. Прислонили лодку к дереву так, что она закрывала нас от ветра и висела над нами, как крыша. Уютно.

Прошел в небесах самолет, оставляя при свете заката две алые нитки. Чужая, непонятная страна шумела вокруг. Наша умерла, сгорела и погасла давно.

— Жаль, что нельзя на всю жизнь остаться маленьким, — усмехнулся Ильгиз. — Может, нам на лодках детей возить? Если родители доверят...

И лег лицом в траву. По его уху пополз рыжий муравей, но муравей его не обидит.

Может быть, с самого начала нам надо было взять себе другие профессии — то ли стать воспитателями в детских садах, то ли егерями в зеленых рощах. Я глох на полигонах, Ильгиз ловил рыбу, которую не любил (он никогда не ел ее, а ел тушенку из банки с большой радостью) и влачил унылые дни, как сказали бы в девятнадцатом веке.

Костер стрелял красными углями, строя нам глаза, как суровая учительница. “Все сгорите, все уйдете на небеса...”

Но куда мы здесь, и ветру нас не достать, со стороны запада нас защищает старая длинная лодка. Можно бы даже остаться тут жить...

*Красноярск — Бикбулово.*

## Валентина ЗАВАРЗИНА

*Родилась в Алтайском крае. Закончила Киевский государственный университет.*

*Работала корреспондентом на Украине и на Таймыре.*

*Публиковалась в коллективном сборнике*

*"Белый олень Сэреко".*

*Живет в Дудинке.*

### ЗАРИСОВКИ

#### Минькины сны

Они привыкли к соседству и научились мирно сосуществовать, не мешая друг другу — кошка Маркиза, ворона Маруся, болон Минька и попугай Рома с двумя попугайчатами — Пашей и Дашей, оставшимися почти сразу после рождения без матери.

У овдовевшего Ромы пропало настроение говорить, и он стал прибегать к человеческой речи очень редко. Да и некогда ему — он занят воспитанием детей.

У Маруси праздник, когда чистят ее клетку и ей разрешается полетать и побродить по квартире. Как ни странно, она предпочитает бродить, исследуя клювом все попадающиеся на пути щели.

Маркиза — очень важная персона. Она — приближенное к хозяйке существо: умеет и подмурлыкнуть вовремя, и подластиться именно тогда, когда нужно. Сознывая свою неотразимость, она пользуется ею: ходит, где ей вздумается, гуляет сама по себе.

Самый беспокойный в этом хозяйстве — Минька. Его огромные карие глаза под белесой щеточкой ресниц сквозят такой сообразительностью и преданностью каждому, кто протягивает ему лакомство, что даже не любящие собак проникаются к нему симпатией. А уж когда он встанет на задние лапки, трогательно, по-заячьи, опустив вниз передние, и улыбается во всю пасть — публика неизменно превращается в его поклонников.

Но Минька — пес блудливый. Стоит ему заметить симпатичную дворняжку — хозяйка его не дозволится. Возвращается блудня домой только поздно вечером. А то и через сутки. Грязный, голодный, еле стоящий на ногах. Его накормят, отмоют, расчешут. И вот он уже умиротворенный, пьяный от сытости и внимания добредает до своего коврика и, сладко зевнув, засыпает. Ни дать ни взять — рыжая пушистая горжетка, нечаянно упавшая на пол.

Но длительные заплывы в дворовую собачью жизнь не проходят даром. Миньке снятся беспокойные сны, может, даже кошмарные. Он то вздрагивает, то вскакивает, то начинает поскуливать, а то вдруг ка-а-к тьякнет!

Маркиза тут же все бросает, подбегает к Миньке, выгибает по-драконьи спину, машет хвостом и начинает шипеть.

Маруся возмущенно взмахивает крыльями и укоризненно произносит: "Каррр!"

Это звучит как сигнал для Ромы. Он не терпит недоговоренности и, поправляя Марусю, вопит: "Караул!"

Все это будит Миньку. Он поднимает голову, обводит всех недоуменным взглядом и словно спрашивает: "А что случилось? Из-за чего, собственно, сыр-бор-то?"

#### Умная Найда

Охотничья лайка Найда спала на застекленном балконе. В квартире же царствовал котенок Барсик. Собака и котенок территорию не делили, ходили друг к другу в гости, играли и по призыву хозяев вместе бежали на кухню — каждый к своей мисочке, не посягая на чужой обед.

Но вот у Найды появились щенки. Они так аппетитно причмокивали, привалясь к теплому материнскому животу, что и Барсик однажды не выдержал: втиснулся между щенятами и ткнул носом в набухший, источающий запах теплого молока, сосок...

Щенята росли не по дням, а по часам. Вместе с ними, хоть и не так быстро, крупнел Барсик. Подросших щенят разобрали охотники, и Найда с Барсиком опять остались одни. Исхудавшая Найда пыталась войти в охотничью форму, но кота уже невозможно было отнять от груди.

Кот раздобрел и превратился из Барсика уже в Барса, получая допайком грудное молоко несчастной собаки.

Через пару месяцев Найда забеременела снова. Она стала прятаться от приемного сына, порывкивать на него, но уклониться от обязанностей кормилицы так и не смогла. И это помешало ей выносить щенков. Все окончилось трагедией — выкидышем, после которого хозяева еле выносили собаку.

Барсик же и большую Найду продолжал сосать. Он стал огромным, холеным и флегматичным котом и проявлял настойчивость только в преследовании Найды.

Собака выздоравливала медленно. Но вот она окрепла и снова стала самостоятельно выходить на улицу. А когда у нее забрезжила надежда на скорое материнство, она ушла из дома. Барсик ждал ее, волновался, взглядами и строгими мявканьями требовал у хозяев ответа: "Где Найда? Когда она придет?"

А та прибегала к дверям квартиры каждый день, но домой не заходила. Получала порцию еды и исчезала. Хозяева поняли, в чем дело, и не пытались ее удерживать.

Как-то она не появлялась несколько дней. Потом пришла похудевшая, страшно голодная и нетерпеливая. Найду накормили и выследили ее пристанище. В полуразвалившемся балке мудрую мамашу ждали четыре красивых щенка.

Однако показать-то их Найда показала, но унести домой не позволила. И только через месяц, когда на улице уже совсем стало холодно, сама привела к дверям хозяйской квартиры еще неуклюжих, но сытых и здоровых щенков.

#### Как заговорил Гоша

Большой сибирский кот с американско-азиатской кличкой Кент чувствовал себя в доме главным. Он валяжно расхаживал по квартире, стараясь участвовать во всем



происходящем. А когда суэта утихала и каждый член семьи погружался в свои дела, Кент занимал позицию, с которой видны были все: и хозяин с книжкой на диване, и хозяйка с вязанием перед “Санта-Барбарой”, и их дочка в наушниках, пробующая новую мамину помаду перед зеркалом.

А когда никого не было, Кент растягивался на обеденном столе (именно на него приходилось самое большое и яркое солнечное пятно) и засыпал так сладко и крепко, что порой не слышал прихода хозяев. А это уже было чревато наказанием — со стола его гоняли нещадно. Но это случалось крайне редко — Кент обычно успевал выспаться, до того как слышался поворот ключа в замке.

Все было спокойно, пока не появился в доме маленький синеперый попугай.

Попугая назвали Гошей. Он был из породы говорящих. Но пока он ничего не говорил, зато летал, где хотел, устраивался отдыхать то на книжке хозяина, то на голове хозяйки, то на плече девчонки, дергая клювом ее непокорные вихры. Их это смешило, развлекало, и то и дело слышалось: “Смотрите, смотрите, что делает Гоша!”

Кент сразу невзлюбил Гошу. Он делал вид, что его не касается то, что происходит, но наблюдал теперь только за нахальной птичкой.

А у Гоши был веселый нрав, он любил розыгрыши и для этой цели стал пользоваться своими способностями. Сначала симитировал звон будильника. Страшно удивившаяся непонятно как потерянному времени девчонка ушла в школу на два часа раньше. Потом в квартире то и дело стали раздаваться трели дверного звонка, а за дверью — тьяканье бабушкиной собачки, которая действительно иногда приходила в гости самостоятельно. Имитация была такой искусной, что хозяева даже после обнаружения продолжали бегать к входной двери, не в силах отличить настоящие звуки от подделки.

Кента страшно раздражала эта неразбериха. И вообще этот наглый пернатый... Стоило коту с вожделием вонзить зубы в рыбий хвост или кусок мяса, как Гошка слетал к его хвосту и начинал дергать. Или скакал возле самого блюдечка, отчего пища для Кента сразу утрачивала вкус.

Кент стал охотиться за синеперым. Но это подорвало только его, Кента, авторитет. А когда он-таки прижал Гошку к подушке и уже хотел попробовать зубами, тот заверещал не своим голосом так, что сбежалась вся семья и даже соседи подумали, что в квартире происходит что-то страшное. Гошку отобрали, Кента наказали. Он понял, что физическая расправа — не метод, презирал птаху, перестал ее замечать и реагировать даже на мирные поддразнивания.

То, что Гоша заговорил, обнаружилось случайно. Хозяйка отдыхала в спальне, когда ей послышались из кухни голоса и какой-то стук. Вышла — никого нет, только Кент какой-то взъерошенный сидит на полу. Через некоторое время она слышит тот же набор звуков. И опять только Кент сонно и растерянно озирается.

Решила проследить, что же там происходит. Сделала вид, что ушла, а сама наблюдает из-за портьеры.

Кент поглядывался, убедился, что никого нет, запрыгнул на стол и растянулся на солнышке. Но только он задремал, раздался голос мужа хозяйки: “Кент, Таня пришла”. Кота будто пружиной подбросило. Он мигом слетел со стола и завертел головой, ожидая появления Тани или хозяина.

А на веточке лимонника смирно сидел синеперый Гоша и, наклонив головку, внимательно наблюдал за манипуляциями Кента. И словно бы даже улыбался...

## Оксана ДОБЖАНСКАЯ

Родилась в 1967 году. По специальности этномузыковед. Составитель ряда фольклорных сборников. Печаталась в литературно-художественном альманахе "Полярное сияние".

Живет в Дудинке.

### ОЙУН

Долганская сказка

Это было давным-давно, во время, которое не помнит никто. Тогда на Таймыре большие леса росли. На лесной поляне стоял чум, и жила в нем старуха с тремя сыновьями. Старшие братья на дикого оленя охотились, рыбу ловили. Младший сын, восьмилетний Ойун, с матерью дома оставался. Хозяйство было большое, и жили они богато, ни в чем не нуждаясь.

Однажды ночью налетело на стойбище дикое племя людей с татуированными лицами. Даже за луки не успели схватиться старшие братья, как были убиты. Ойун спрятался от нападавших в поленище дров, и его не нашли. Когда все стихло, выбрался Ойун из-за дров, огляделся. Видит: мать его и братья убитые лежат, все разграблено, разбито. Стадо оленей угнали, даже нарты забрали. Горько заплакал Ойун: "Один я на земле остался, что теперь делать?" Пошел он пешком по санному следу, оставленному ночными грабителями.

Долго идет Ойун, не зная усталости. Вот и зима подошла к концу. Солнце стоит высоко, снег под его лучами тает. Вдруг увидел Ойун неподалеку незнакомый чум, зашел в него. У очага сидят старик со старухой.

Говорит старик:

— Смотри, мать, бог послал нам сыночка. Накорми его, спать уложу. Потом поговорим.

Уложила старуха Ойуна спать на мягкую постель, укрыла пещовым одеялом. Спал гость три дня и три ночи. А когда проснулся, рассказал старикам о своем горе. Как родного сына, приняли Ойуна старики, и зажили они все вместе. Рыбу ловят, на охоту ходят. Подрос Ойун, крепким, как олень, стал. Отцом и матерью зовет приемных родителей, за родных почитает.

Однажды ночью старик услышал, как Ойун во сне поет. Утром спрашивает парня:

— Что во сне ты видел, сынок? Песня твоя была больно уж хороша.

— Ничего во сне я не видел и песню не пел, — отвечает Ойун.

— А может, ты шаманом становишься, ведь имя твое Ойун?\* К тебе, верно, добрые духи ночью приходили? — не отстаёт отец.

Ничего не ответил ему сын, только задумался.

В тот день пошли они на рыбалку. Река отдала им столько рыбы, что на три года вперед запасы сделали. Юколу\*\* засушили, рыбный жир и баркы\*\*\* заготовили. Удивляется старик — что-то необыкновенное происходит!

Прошло лето, осень прошла. Снова проснулся старик оттого, что Ойун поет во сне. На этот раз слова песни хорошо слышны:

*"Утром выйди на берег реки,  
трех оленей увидишь ты там."*

\* Ойун — по-долгански "шаман".

\*\* Юкола — вялено-копченое рыбное филе.

\*\*\* Баркы — высушенные брюшка, проваренные с молотой рыбой и залитые рыбным жиром.

*Вожака с кривым рогом убей,  
но других отпусти, не стреляй.  
Если выполнишь все, как сказал я,  
через год без потерь ты пройдешь!"*

Старик сделал так, как пел во сне Ойун. Когда вожак упал, сраженный меткой стрелой, подошел Ойун.

— Что будем делать со шкурой, сынок? — спросил старик.

— На бубен пойдет мне да на одежду. Ведь я — шаман, ты сам сказал это, отец. Пора мне шить шаманский костюм.

Мать выделала шкуру и сшила шаманский костюм для Ойуна. Отец для него сделал бубен. Оделся Ойун, и родители глаз от него оторвать не могут — просто красавец сын их!

Ойун сказал:

— Теперь поедем, кочевать на новое место нам пора.

Собрали чум, запрягли оленей, поехали. Долгий путь у них, далеко едут. Вдруг увидели высокий холм. Взошли на него, огляделись, видят — вдалеке стойбище виднеется.

Говорит Ойун отцу:

— Здесь остановимся, чум делать будем. Завтра из стойбища придет человек за помощью, дочь его сильно болеет. Он будет думать, что ойун — это ты. Он будет просить тебя вылечить дочь, но ты не соглашайся.

На следующий день все случилось так, как сказал Ойун. Приехал отец больной девушки, и сколько ни просил он старика вылечить его дочь, старик не согласился.

Вечером Ойун говорит:

— Теперь женщина придет, мать больной девушки. Как бы ни просила тебя она о помощи, смотри, не соглашайся.

Снова все случилось так, как предсказал Ойун. Старик ни на слезы, ни на уговоры женщины не соглашался. В то время, пока они разговаривали, старуха ножом палец порезала и вскрикнула:

— Как больно! Где мой сын Ойун, он сейчас же кровь остановит!

В чум вбежал Ойун, кровь матери остановил.

Женщина догадалась, что ойун — молодой парень, и обратилась к нему:

— Дочь мою спаси, помоги!

Поехал с ней Ойун в стойбище. Перед их чумом спешил, белую шкуру под ноги бросил и по ней в чум зашел. Видит — больная девушка лежит, в лице ее ни кровинки, и почти не дышит. Подошел к девушке Ойун, над ее головой сильно ударил в бубен. Девушка глаза открыла, смотрит на Ойуна.

— Завтра дочь ваша на ноги встанет, — сказал шаман.

Так и вышло. Проснулись родители утром, а дочь их уже чай готовит. Удивились они, обрадовались.

— Бери дочку себе в жены! — воскликнул отец девушки.

— Сначала сделайте так, как я вам скажу, — отвечает Ойун. — Постройте новый чум на опушке леса. Возле него постелите шкуру белого оленя, пусть девушка на нее сядет. Рано утром к чуму прилетят три лебедя, один из них окольцован будет. Если поймает она лебедя с кольцом на лапе, возьму я ее в жены.

Так и сделали. Утром села девушка у чума, начала ждать. Прилетели три белых лебедя, сели рядом с ней на белую оленью шкуру. Схватила она того, который был с кольцом на лапе, и в ее руках лебедь превратился в юношу. Это был Ойун.

— Молодец, ловкой и хорошей хозяйкой будешь! — похвалил он свою невесту.

Когда они поженились, три дня по тундре звенели песни, звучали бубны — такой большой и веселой была их свадьба.

Ойун был первым долганским шаманом, от него начался весь шаманский род.

Рассказал А. Уксусников  
из поселка Новорыбное.

## Казимир ЛАБАНАУСКАС

*Свыше двадцати лет живет на Таймыре. Является составителем серии сборников фольклора народов Таймыра. Печатался в альманахе "Полярное сияние". Живет в Дудинке.*

### ДВА НГУЗУНДЭЯ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ

*Энецкая легенда*

Говорят, в старые времена, когда энцы еще жили в Тазовской лесотундре, здесь, по среднему течению реки Большая Хета, у озера Беханада\*, жили два брата Нгузундэя. Неизвестно, были ли они настоящие энцы или моррэдэ\*\* Сейчас этого уже никто не знает.

Два Нгузундэя жили в одном чуме вместе с матерью. Отца уже не было, он умер от какой-то болезни.

Большого богатства они не имели — всего двести оленей. Весной Нгузундэи обычно аргжишили на Агалу, а ближе к зиме возвращались со стадом на Большую Хету. Старший Нгузундэй смотрел за оленями, а младший ловил рыбу в озере Беханада.

Нгузундэи были неженаты. Мать не раз говорила, мол, езжайте в Тазовскую лесотундру, там наверняка невест себе найдете. Однако сыновья возражали, говоря:

— Куда нам ехать в такую даль? Оленей у нас всего двести. Если мы так будем ездить, мы всех их погубим. Лучше будем без жен.

Вот так и жили Нгузундэи из года в год.

Но однажды произошло то, чего они даже и ожидать не могли. Старший Нгузундэй стал замечать, что у некоторых оленей рога поломаны. Как будто кто-то нарочно ловит оленей и обламывает им рога.

Когда это случилось несколько раз, старший Нгузундэй решил проверить, какие люди приходят в стадо и трогают оленей. Он спрятался в укромном месте и стал ждать, не появится ли кто-нибудь. Всю ночь прождал. И вот под утро, наконец-то, он увидел: откуда-то появляются люди маленького роста, совершенно незнакомые. Они руками хватают оленей за рога, которые тут же обламывают. Сделав это дело, они незаметно исчезают.

Потом началось еще более интересное. Старший Нгузундэй, сидя в карауле, увидел, как из-под земли вышла молодая женщина. В руке у нее был медный котел. Она подошла к берегу озера и стала набирать воду из проруби.

Старший Нгузундэй не знал женщины, и теперь ему захотелось подойти к ней. Ему показалось, что она очень красивая. В голове мелькнула мысль: "Может, я ее возьму в

жены без калыма. Тогда и жена была бы, и оленей не потерял бы".

Он вышел из укрытия и подошел к этой женщине. Она повернулась к нему, и только теперь мужчина смог разглядеть ее внешность. Она была одета в красную суконную парку, на которой висело множество железных украшений. Лицо ее было покрыто железной маской. На ней были видны узкие прорезы для глаз, носа и рта. Нгузундэй подумал: "Она, кажется, вся железная. Не пойму, то ли это настоящая женщина, то ли чудовище?"

Тем временем женщина, не говоря ни слова, пристально смотрела на Нгузундэя через прорезы железной маски. Наверное, хотела заговорить его.

Потом она заговорила писклявым, неестественным голосом:

— Ты кто, человеческий мужчина или нет?

Нгузундэй сказал:

— Я энец, оленевод. Я здесь пасу оленей и уже который раз замечаю, что кто-то обламывает рога моим оленям. Может, ты знаешь, кто так делает?

Женщина сказала:

— Мои братья играют с твоими оленями, не обижайся! Если тебе не нравится, они больше не будут трогать твоих оленей. У меня есть старший брат по имени Бэсэ Туа (Железное Крыло). Я попрошу его не трогать оленей.

Нгузундэй сказал:

— Ты-то сама откуда пришла, кто ты такая и почему на тебе так много железа?

Женщина сказала:

— Не спрашивай, откуда я! Та земля, на которой я живу, не видна для глаз земных людей. Ты не бойся меня, не смотри, что я в железной маске. Приходи на свидание со мной, и ты многое узнаешь обо мне.

На этом встреча закончилась, и старший Нгузундэй отправился в свой чум. Он шел и размышлял: "Кажется, она красивая девушка. Конечно, плохо, что она вся в железе. А если бы снять с нее железную маску, может, она стала бы моей женой?.."

После этого случая старший Нгузундэй еще не раз ходил на свидание с женщиной в красной парке и железной маске. Они так свыклись друг с другом, что перестали замечать, что они совершенно чужеродные люди. Старшему Нгузундэю начало казаться, что его семейное счастье совсем близко.

Однако на самом деле все вышло совсем по-другому. Младший Нгузундэй стал замечать, что его старший брат слишком долго пропадает где-то в тундре. Он подумал: "Земля у нас хорошая, олени спокойно пасутся по всей тундре. Что он там так долго караулит? Пойду-ка я вслед за ним, посмотрю". И пошел. К своему удивлению, он увидел, как старший брат на берегу озера стоит и разговаривает с какой-то женщиной. Он даже иногда руками притрагивался к ней. Младший Нгузундэй тоже не знал женщины, и теперь, увидев ее, он загорелся желанием подойти поближе и посмотреть. Однако, когда он приблизился к старшему брату и его невесте, та мгновенно стала невидимой, как будто в воздухе растворилась.

Старший Нгузундэй, увидев сзади брата, вспыхнул гневом и закричал:

\* Озеро Беханада по-ненецки называется Тампей. В его окрестностях теперь живут тухардские ненцы.

\*\* Моррэдэ — в энецком фольклоре охотники на дикого оленя. Возможно, они были предками тундровых энцев-сомату. (Подробнее о моррэдэ см.: Б. О. Долгих. Очерки по этнической истории ненцев и энцев. М., 1970, стр. 260 — 263.)

— Ах ты, негодяй! Зачем ты следил за мной? Ты же испугал мою невесту! Как знать, может быть, она стала бы моей женой.

Младший Нгузундэй не растерялся и ответил:

— Ничего себе невеста! Да у нее все лицо железное. Зачем тебе нужно это чудовище? Когда приду в чум, я все расскажу матери.

Потом братья пошли домой, ругаясь и упрекая друг друга. Когда вернулись в чум, младший Нгузундэй рассказал матери все, что видел в тундре.

Мать расстроилась и начала упрекать старшего сына:

— Сынок, зачем тебе это железное чудовище? Она же не настоящая женщина. Если ты будешь с ней встречаться, она тебя погубит. Разве ты не слышал рассказы старых людей о железных чудовищах, летающих по небу и живущих под землей? Они похищают наших людей. Ни один из тех, кто ушел к железным, не вернулся обратно. Сынок, послушайся старой матери! У тебя же есть двести оленей. Неужели ты не можешь из этих оленей уплатить калым за невесту? Поезди по стойбищам, наверняка найдешь девушку, которую можно посватать.

Старший Нгузундэй ничего не отвечал на упреки матери. Он сидел, опустив голову, будучи погруженным в свои мысли. Видимо, невеста в красной парке и железной маске не выходила у него из головы.

Через день или два старший Нгузундэй опять пошел на то место у берега озера в надежде увидеть ее. И она появилась на короткое время.

Женщина сказала:

— Когда придет весна, аргиши в тундру, туда где течет река Агапа. Там проведешь лето. Если пойдешь охотиться на диких оленей, ты меня обязательно увидишь. Я возьму тебя с собой, и тебе будет очень приятно. Не слушайся матери! Она ведь не знает всей правды о жизни той земли, которая не видна человеческим глазам. Ты слушайся меня одну. Я избавлю тебя от этой жизни, в которой нет ничего хорошего.

Сказав эти слова, женщина в красной парке и железной маске перестала быть видимой и больше ни разу не появлялась в том месте, где старший Нгузундэй встретился с ней в первый раз.

Настала весна, и Нгузундэй начал свой длинный аргиш в тундру, где предстояло провести все лето. Они пересекли по льду Енисей и через некоторое время достигли верховьев реки Агапы.

Однажды старший Нгузундэй сказал:

— Пока снег твердый, нам надо поохотиться на диких оленей. Здесь, на Агапе, их бывает очень много. Опять будем с мясом, и не надо будет забивать своих оленей на еду.

Младший Нгузундэй сказал:

— Брат, ты, конечно, поедешь охотиться на диких. Однако, я тоже поеду с тобой. Я не хочу, чтобы ты остался один. Вдруг на тебя нападут железные люди.

Вот они вдвоем поехали охотиться на диких оленей. День выдался хороший, далеко видны окрестности. Вскоре показался табунок диких оленей, и братья, подкравшись, убили из лука трех животных. Туши положили на грузовые нарты, завязали. Уже хотели ехать обратно, как старший Нгузундэй сказал:

— Слышь, брат, мы с тобой добыли всего трех оленей. Ты езжай в чум, а я посмотрю, может, добуду еще одного оленя. Все-таки жалко возвращаться просто так. Дикие-то, беда, жирные!

Младший Нгузундэй послушался старшего и поехал в чум, везя за собой нарты, груженные тушами диких оленей. Но на душе у него было беспокойно. Он ехал и думал: «Опять мой старший брат останется в тундре один. Если нагрянет беда, как я ему помогу? А, может, он надеется увидеться с той женщиной в красной парке и железной маске? Ох, и пропадет брат! Беду предчувствует мое сердце».

Младший Нгузундэй остановил упряжку и посмотрел назад, не едет ли за ним старший брат. И то, что он увидел, привело его в ужас: на возвышенности стоял брат рядом со своей упряжкой, а вокруг него стояли три или четыре человека, одетых в одежду, ярко сверкающую на солнце. В руках они держали что-то вроде луков, тоже ярко светящихся. Издали трудно было определить, что они там делали, стоя около брата.

Младший Нгузундэй крикнул в отчаянии:

— Эй, брат, держись, не сдавайся! Я подъеду, помогу тебе!

Он оставил нарты с мясом и налегке поехал к тому месту, где стоял старший брат в окружении железных. Хотя он всей силой гнал оленей, но, когда подъехал, нашел только упряжку брата и больше никого. Вокруг упряжки виднелась опаленная огнем тундровая трава...

Когда младший Нгузундэй вернулся в чум и рассказал матери о случившемся, то мать чуть с ума не сошла. Она плакала и кричала:

— Сын, ты виноват в гибели брата! Разве ты не видел, что он заморозился от этого чудовища в красной парке? Надо было беречь брата, а ты не делал этого!

Однако, сколько ни плачь, пропавшего к жизни не вернуть. Со временем бедная старушка смирилась с пропажей старшего сына.

Младший же Нгузундэй, завладев оленями по наследству, начал устраивать собственную жизнь. Он нашел себе красивую энецкую девушку и, заплатив калым, женился на ней. Жизнь его вошла в обычную колею, за одним только исключением: он больше никогда не аргишил летовать на Агапу, так как боялся железных пришельцев.

*Легенду рассказал*

*Силкин Дегезли Бакулович,*

*Тухард, 1990 г.*

## ТРИ ДОЧЕРИ БЕДНОГО СТАРИКА

### *Ненецкая сказка*

Говорят, когда-то давно на берегу реки Танамы жил один бедный старик. Оленей у него не было. Что в реке поймает, вот тем и жил. Жена у него умерла, старик остался жить с тремя дочерьми. Дочери уже выросли, пора замуж выходить, а женихов нет как нет. Кто захочет брать жену из бедной семьи?

Однажды старик сел в лодку и поехал в соседнее стойбище: мол, надо знакомых проведать, узнать, какие у них новости. Гостевал он два или три дня, а когда вернулся обратно в свой чум, сказал дочерям:

— Доченьки, я вас обрадую новостью. Соседи мне рассказали, что в тундре, недалеко от нас, находится стойбище оленеводов. Вот там есть один молодой оленевод, который желает найти себе красивую и работающую жену. Меня спросили, может, я знаю таких девушек, достойных выйти замуж за оленевода. Я им так ответил: вот у меня в чуме есть три дочери, красивые, хорошие. Правда, две из них немно-

го ленивые, но самая младшая — только и взять в жены. Тогда мне сказали: пусть каждая из моих дочерей приходит в чум оленевода. Там дадут ей работу. Если все добросовестно выполнит, то и станет женой молодого оленевода. Потом они сказали мне, как найти дорогу в тот чум. Вот теперь я и думаю, доченьки, не попытает ли вам счастья? Может, хоть одна из вас выйдет замуж. Не бойтесь, вы же хорошо умеете шить. Завтра ты, старшая дочь, пойдешь в чум оленевода. Смотри, делай все, что укажут, по совести.

Утром следующего дня старшая дочь собралась в дорогу. Она взяла с собой сумочку со швейными принадлежностями и немного еды — путь-то неблизкий.

Долго шла старшая дочь, совсем из сил выбилась. Лишь к концу второго дня она, наконец-то, увидела стойбище из трех чумов. Подходя к стойбищу, девушка подумала: в который чум войти? Решила войти в средний чум, он кажется чем-то примечательнее.

Войдя, остановилась она недалеко от входа и начала молча осматривать внутренность чума. Темно и дымно. Горит костер, а над ним висит медный котел, полный оленьего мяса. Одна половина чума совсем пустая, а на постели второй половины видны два человека. Молодой мужчина сидит и ножом что-то мастерит из мамонтовой кости. На краю постели, поближе к выходу, лежит, накрывшись паркой, пожилая женщина, наверное, мать этого мужчины.

Через какое-то время мужчина поднял голову и сказал пришедшей девушке:

— Почему стоишь у входа в чум? Проходи дальше. Займись работой! Вот котел, вари мясо, потом покушаем. Небось проголодалась, пока шла до моего чума.

Девушка молча принялась за работу. Она перевернула мясо в котле, подложила в огонь несколько сухих веток тальника.

Когда мясо сварилось, девушка устроила ужин. Она налила супа в три миски, и в каждую из них положила по куску мяса. В свою миску она положила жирное мясо с косточкой, а оленеводу и его матери положила по куску жилистого мяса. Потом стали есть. Все трое ели молча, как будто ни у кого нет доброго слова друг другу.

После ужина оленевод сказал девушке:

— Знаешь-ка, девка, постели себе постель на той стороне чума и ложись спать. Завтра возвращайся обратно в чум отца!

Девушка молча улеглась спать, а когда настало утро, даже не покушавши, отправилась в свой чум. Когда пришла, сказала отцу:

— Отец, тот оленевод мне не понравился. Я все сделала, как надо, а он меня отправил домой. Не хочу я такого мужа.

Тогда старик сказал средней дочери:

— Доченька, теперь ты отправляйся! Смотри, не перечь и не ссорься, что скажут, то и делай так, как полагается ненецкой женщине.

На следующий день средняя дочь старика отправилась в чум оленевода. Когда дошла до стойбища, из среднего чума вышла пожилая женщина и сказала:

— Девочка, войди в чум, будешь хозяйкой!

Средняя дочь старика вошла в чум и тут же принялась за работу. Она подбросила дров в костер, чтоб еда быстрее сварилась, прибрала постели, взяла бакари оленевода, вывернула их и повесила сушить на перекладину.

Потом сели ужинать.

Когда закончили, оленевод сказал девушке:

— Постели себе постель на той стороне чума и ложись спать! Ты, наверное, устала, пока шла до моего чума. Завтра

займись шитьем. Вот здесь лежат камусы, из них ты сошьешь мне новые бакари.

Наступил следующий день. После завтрака оленевод собрался на работу в стадо, а девушка принялась выделывать камусы для бакарей. Весь день она упорно трудилась, но ей удалось сделать только часть работы. На второй день продолжалось то же самое. Работа показалась девушке слишком долгой и нудной. Она сидела, размышляя: "За что мне такое наказание? У него же есть бакари, так нет, бери и шей еще одну пару. Мне надоела эта работа, как бы быстрее ее завершить"...

Закончив выделку камусов, девушка принялась шить бакари. Но опять-таки, чтобы бакари получились прочными, выделанные камусы нужно сшивать крепкими нитками. И вот, вместо того чтобы приготовить такие нитки, она стала шить теми, которые ей попались под руку.

Прошло какое-то время, и бакари были готовы. Когда оленевод вернулся с дежурства в стаде, девушка сказала:

— Вот тебе новые бакари, надевай и носи!

Оленевод стал надевать бакари, и тут же понял, что они малы и непрочны.

Он сказал девушке:

— Твоя сестра оказалась обжорой, а ты обманщицей. Неужели ты думаешь, что в таких бакарях можно ездить по тундре? Отправляйся-ка назад к своему отцу, так будет лучше!

Услышав такие слова, девушка расплакалась. Ей показалось, что оленевод к ней слишком несправедлив. Столько работала, столько старалась, и на тебе. Однако, что поделаешь? Ненецкой женщине неволя перечесть мужчине. Как мужчина сказал, так и будет.

На следующий день девушка со слезами на глазах отправилась в свой чум. Когда вернулась, сказала отцу:

— Сама не пойму, почему я не понравилась оленеводу? Он даже обозвал меня обманщицей. Зачем мне такой муж?

Тогда старик отправил младшую дочь, дав ей такое напутствие:

— Доченька, будь послушна и трудолюбива! Что скажут делать, то и делай по всей совести!

И вот младшая дочь старика пошла в чум оленевода. Долго шла, совсем устала. Только утром третьего дня она достигла стойбища. Оказывается, оленеводы уже позавтракали и ушли на свои повседневные дела.

Из среднего чума показалась пожилая женщина, в руках у нее какой-то котел. Увидев пришедшую девушку, она позвала ее к себе и сказала:

— Вот котел с едой для собак моего сына. Я сама хотела покормить собак, но теперь вижу, что ты пришла, так вот займись этой работой.

Девушка, нисколько не отдохнув после дальней дороги, стала кормить собак. Когда она закончила эту работу, зашла в чум и уже хотела прилечь на постель отдохнуть, хозяйка чума сказала:

— Девушка, ты, наверное, проголодалась с дороги. Возьми сырого мяса, посагудай с кровью, а потом отправляйся в тундру собирать тальник. Костер топить совсем нечем.

Девушка так и сделала. Покушав, отправилась в тундру за тальником. Пока ходила, искала да собирала, почти весь день прошел. Вернувшись в чум, она увидела, что молодой оленевод уже приехал после дежурства в стаде.

Оленевод сказал девушке:

— Ты, оказывается, пришла. Ну, вари теперь котел, а то я проголодался.

Девушка молча принялась готовить ужин. После вечерней трапезы оленевод сказал девушке:

— На той стороне чума постели себе постель и ложись спать! Завтра начнешь шить женскую парку, такую, какой я накрываюсь на ночь, ложаюсь спать. Двух дней тебе хватит на эту работу.

Девушка постелила себе постель и легла спать. Однако долго не могла уснуть, обдумывая слова, только что сказанные оленеводом. “Никак не пойму, он или шутит, или хочет нарочно завалить меня невыполнимой работой? Где такое было, чтобы за два дня пошить женскую парку? За два дня и шкуры-то выделывать не успеешь. Совсем не могу его понять”. При этих мыслях она уснула.

Как только появилась утренняя заря, девушка встала с постели, развела костер и повесила чайник.

Потом встали и остальные. Молча позавтракали, и оленевод отправился по своим делам. Девушка же принялась выделывать оленьи шкуры. Как бы упорно она ни трудилась, на выделку шкур ушел и один день, и второй день.

В конце второго дня оленевод, вернувшись из поездки по тундре, спросил девушку:

— Готова ли парка, которой я буду накрываться ночью? Ты ведь так много работала, наверное, уже кончила шить?

Парка, конечно же, не была готова, это не одного и не двух дней работа. Однако девушка не растерялась и ответила молодому оленеводу:

— За два дня такую работу выполнить нельзя. Я выделывала шкуры, старалась, чтобы они получились очень мягкими. Не знаю только, кто будет шить парку?

Оленевод сказал:

— Вот ты и сошьешь. Оставайся в моем чуме, будь хозяйкой, будь моей любимой женой!

Ну, а дальше что рассказывать? Младшая дочь бедного старика нашла свое счастье. Она вышла замуж за оленевода, и вдвоем они жили богато и счастливо. У них было много детей, которые впоследствии стали знатными оленеводами.

Рассказал Яр Явмбе Андреевич,  
Воронцово, 1977 г.

## ПОХИЩЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

### Нганасанская легенда

Эту легенду я слышал от стариков. Говорили, что когда давно в верховьях Попигай\* жил один сильный и удачливый охотник по имени Баса Динтэ (Железный Лук). Он добывал много диких оленей, и никто не мог сравниться с ним ни по силе, ни по ловкости.

У Баса Динтэ были жена и сын. Сыну уже было десять лет, и он ходил на охоту, отцу помогал. Жена Баса Динтэ занималась домашним хозяйством, шила одежду, сушила и выделывала оленьи шкуры. Когда мужчины уходили на охоту, она целыми днями оставалась одна в чуме.

Весть об удачливом охотнике Баса Динтэ дошла до татуированных эвенков,\*\* которые в те далекие времена жили в

Анабарских горах. У них тоже были свои силачи и умелые охотники. Особенно отличались силой и ловкостью предводитель татуированных по имени Кубаса и его брат. Когда они узнали о нганасанском охотнике Баса Динтэ, то сильно разгневались.

Предводитель Кубаса сказал:

— Не может быть, чтобы в этих краях кто-то был сильнее нас! Не верю! Завтра соберемся и поедем к тому охотнику, проверим его силу. Я не думаю, что какой-то Баса Динтэ может увернуться от моей стрелы, отделанной мамонтовой костью.

Услышав такие слова предводителя, остальные татуированные эвенки обрадовались. Мол, правильно, надо же испытать нганасанского удалыца.

Брат Кубасы, до этого молча слушавший разговор людей, сказал:

— Брат, все люди знают твою силу. Однако, подумай, стоит ли торопиться воевать. Говорят, стрелы Баса Динтэ с железными наконечниками. Я боюсь таких стрел. Многие из нас зря пропадут в войне с Баса Динтэ. Брат, послушай! У меня в голове есть другая задумка: нам лучше украсть жену Баса Динтэ. Мы ее привезем сюда, и будет она нам женой на двоих. Конечно, Баса Динтэ с сыном поедут искать ее. Вот тогда мы с ними и сразимся.

Предводитель Кубаса долго обдумывал предложение брата. Ему показалось весьма заманчивым похитить женщину. Но с другой стороны, брат был прав, когда говорил о стрелах Баса Динтэ с железными наконечниками. Этих стрел Кубаса опасался, хотя открыто никому об этом не говорил.

После долгих размышлений Кубаса объявил:

— Теперь решим так: воевать пока не будем, а я с братом пойду похищать жену Баса Динтэ. Думаю, что хорошо будет иметь нганасанскую женщину.

Прошло какое-то время, и вот Кубаса с братом собрались в путь. Уже была весна, на земле появилось много проталин. Братья старались ходить только по проталинам, чтобы нигде не оставалось следов. После долгого пути, наконец-то, впереди показалось стойбище Баса Динтэ. Было видно, что он с сыном готовится отправиться на охоту. Эвенки спрятались в укромном месте и стали ждать, пока Баса Динтэ уйдет.

Как только они ушли, Кубаса с братом быстро подошли к чуму. Кубаса вошел в чум и увидел, что жена Баса Динтэ занята шитьем. Он заговорил на своем языке (жена Баса Динтэ немного понимала по-эвенкийски):

— Собирайся, ты пойдешь с нами, ты будешь женой мне и моему брату!

Нганасанка ответила:

— Как я пойду с тобой? Мне большой грех жить с татуированными эвенками. Что скажет мой муж Баса Динтэ, когда узнает? Или ты думаешь, что он не будет с тобой воевать?

Кубаса не понравилась эти слова. Он схватил женщину и вытащил ее из чума. Она кричала о помощи, но кто ей мог помочь? Муж-то ушел далеко на охоту. Брат Кубасы взвалил женщину себе на плечо, и вот оба эвенка отправились домой, шагая по одним только проталинам, чтобы не было видно следов. Они долго шли, неся похищенную женщину то один, то другой.

Когда Кубаса с братом достигли своего стойбища, татуированные эвенки встретили их с радостью. Они возбужденно говорили:

\* Река *Попигай* по-нганасански называется Хоабигай (Лесная река). В районе этой реки в XVII веке жили некоторые предки нганасан (см. Б. О. Долгих. Происхождение нганасанов. Труды Института этнографии, т. 18, Москва, 1952, стр. 56.)

\*\* Возможно, здесь речь идет об эвенках рода Синигир (см. Б. О. Долгих. Происхождение нганасанов, стр. 19.)

— Смотрите, смотрите, вот вернулся наш предводитель с добычей! Ну, теперь-то будет война! Баса Динтэ, конечно, к нам придет. Как хорошо было бы убить его и сына, а потом сварить их мясо в котле. Вот сладко поели бы.

Тем временем Кубаса и его брат внесли женщину в свой чум. Ну, далее что рассказывать? Бедная нганасанка, на-верное, натерпелась от эвенкийских “мужей”.

Сказка, однако, пошла к Баса Динтэ. Он с сыном вернулся после охоты, добыв десять диких оленей. У добычи-ков было хорошее настроение, и они надеялись отдохнуть после утомительного похода в тундру. Сын пошел в чум, желая сказать матери, чтобы быстрее варила еду. Но, когда он вошел в чум, то никого не обнаружил. Костер потух, вещи разбросаны. Он вышел из чума и крикнул отцу:

— Смотри, отец, матери-то в чуме нет, и огонь давно потух!

— Как ее может не быть? — удивился Баса Динтэ. — Она куда не должна была ходить, а должна выделывать оленьи шкуры.

Баса Динтэ заглянул в чум и, убедившись, что жены действительно нет, начал ходить по стойбищу в попытках увидеть хоть какие-то ее следы. Однако, никаких следов так и не обнаружил. Лишь позднее, внимательно осматривая проталины, Баса Динтэ все же заметил неясные следы от мужских бакарей. Продолжая расследование, он убедился, что к стойбищу приходили двое мужчин, а потом ушли в сторону Анабарских гор. Баса Динтэ понял, что его жену похитили татуированные эвенки.

Баса Динтэ вернулся к пустому чуму, сел на санку и сказал:

— Сын, нас постигла беда. Наверное, к нам приходили татуированные. Хоть они и шли только по проталинам, я все-таки разглядел их следы. Скорее всего они и похитили нашу мать.

Сын сказал:

— Отец, что нам медлить? Пойдем-ка по их следам! У нас стрелы с железными наконечниками. Неужели они не испугаются их и не отпустят нашу мать?

Баса Динтэ сказал:

— Нет, сынок! Ты зря горячишься. Пойти-то, конечно, мы пошли бы по их следу. Но как будем воевать, если на нас нападут остальные эвенки? Мы с тобой ведь не выдержим. Я-то думаю по-другому. Нам с тобой лучше ночью подкрасться к стойбищу эвенков. Если не ошибемся и правильно определим, в каком именно чуме находятся похитители, то мы внезапно войдем и убьем их. Вот тогда остальные эвенки, если увидят, что погиб их предводитель, не станут гоняться за нами и не будут воевать. Но, сынок, если мы ошибемся и войдем не в тот чум, то, считай, оттуда живыми никогда не вернемся. Теперь давай чего-нибудь покушаем и ляжем спать. Я шибко устал после охоты.

На следующий день Баса Динтэ стал собираться в дальний путь к эвенкам. Он приготовил стрелы с железными наконечниками, взял с собой нож. Сын тоже вооружился. После всех сборов они отправились в сторону гор, идя по тем, еле заметным, следам двух похитителей. Чем ближе к горам, тем следы становились более отчетливыми. Видимо, эвенки уже никого не опасались и шли не только по проталинам, но и по снегу. Идя по этим следам, Баса Динтэ с сыном попали в густой лес, а потом перед ними открылась небольшая поляна. Там стояло десять эвенкийских чумов.

Баса Динтэ, скрываясь за деревьями, стал обдумывать, как действовать дальше. Он размышлял: “Чумов-то десять. Откуда теперь знать, в котором из них находятся похитите-

ли с моей женой? Ближе ведь не подойти. Увидят эвенки, и тогда нам конец. Придется ждать ночи”.

Он сказал сыну:

— Сынок, будь осторожен, не высовывайся! Теперь будем сидеть и ждать, пока эвенки вечером поедят и лягут спать. Будем внимательно слушать. Может, в каком-нибудь чуме услышим разговоры, может, послышится знакомый голос? Вот тогда и будем нападать.

Когда наступил вечер, Баса Динтэ с сыном стали подходить поближе к чумам, внимательно оглядываясь и прислушиваясь. Из чумов доносились разговоры людей на эвенкийском языке. Однако, погода, из того чума, который стоял в середине стойбища, отчетливо донесся голос жены Баса Динтэ. Она как будто с кем-то ругалась: “Зачем я тебе буду варить еду? Ты замучил меня! Лучше убил бы...”

Услышав эти слова, Баса Динтэ только сейчас смог ясно определить, в котором из десяти чумов находится его жена. Он сказал сыну шепотом:

— Сын, приготовь нож! Сейчас с тобой подойдем к чуму, что в середине стойбища. Это, наверное, и есть чум предводителя. Я войду первым и нападу на того, кто с женщиной. Но там, возможно, будет и еще один мужчина. Это твоя добыча. Смотри, бей без промаха!

Баса Динтэ с сыном подошли совсем близко к чуму предводителя. На стойбище никого не было видно и слышно, наверное, уже ложатся спать. В этом чуме тоже не было слышно никакого разговора, только слабо доносился треск горящего костра. Непонятно, то ли легли спать, то ли просто сидят на постелях. Баса Динтэ нагнулся и слегка приоткрыл полог чума. Он увидел, что в чуме две постели. На левой постели сидел раздетый до пояса татуированный эвенк. Рядом с ним лежала женщина в нганасанских бакарях. На правой постели лежал мужчина-эвенк. Настало время действовать.

Баса Динтэ откинул весь полог и быстро вошел в чум, а сын вошел вслед за ним. Крикнув по-нганасански: “Жена, молчи, не говори ни слова!”, Баса Динтэ бросился к сидящему эвенку и, схватив его за голову, перерезал ему горло. Сын Баса Динтэ сделал то же самое с лежащим эвенком. Ни один из эвенков не успел даже крикнуть.

После того как месть была совершена, Баса Динтэ сказал жене:

— Торопись, одевайся! Нам надо сейчас же незаметно уйти в лес. Эвенки, конечно, легли спать, но, может, кто-то еще не спит. Ты как, жива еще? Тебя они замучили? Не крепись как-нибудь, надо же отсюда немедленно уйти.

Женщина собралась, и вот они втроем тихо вышли из чума и быстрыми шагами отправились в лес, оглядываясь и опасаясь, не увидел ли кто-нибудь. Но на стойбище все было спокойно, и нганасаны благополучно скрылись в лесу. Не останавливаясь на отдых, они шли все дальше и дальше.

Через сколько-то дней Баса Динтэ с семьей вернулся на свое стойбище. Его жена долго болела, но все же поправилась, окрепла. Тогда Баса Динтэ решил аргить в низовья Попигая. Ему, конечно, было жалко оставлять места, богатые диким оленем. Но он опасался, что татуированные эвенки могут приехать и отомстить за убитого предводителя.

Баса Динтэ аргил в низовьях Попигая, поближе к своим сородичам. Больше в его жизни не было ничего худого.

Рассказал Момде Сайбо Тогунтеевич,  
поселок Новый  
Хатангского района, 1973 г.

